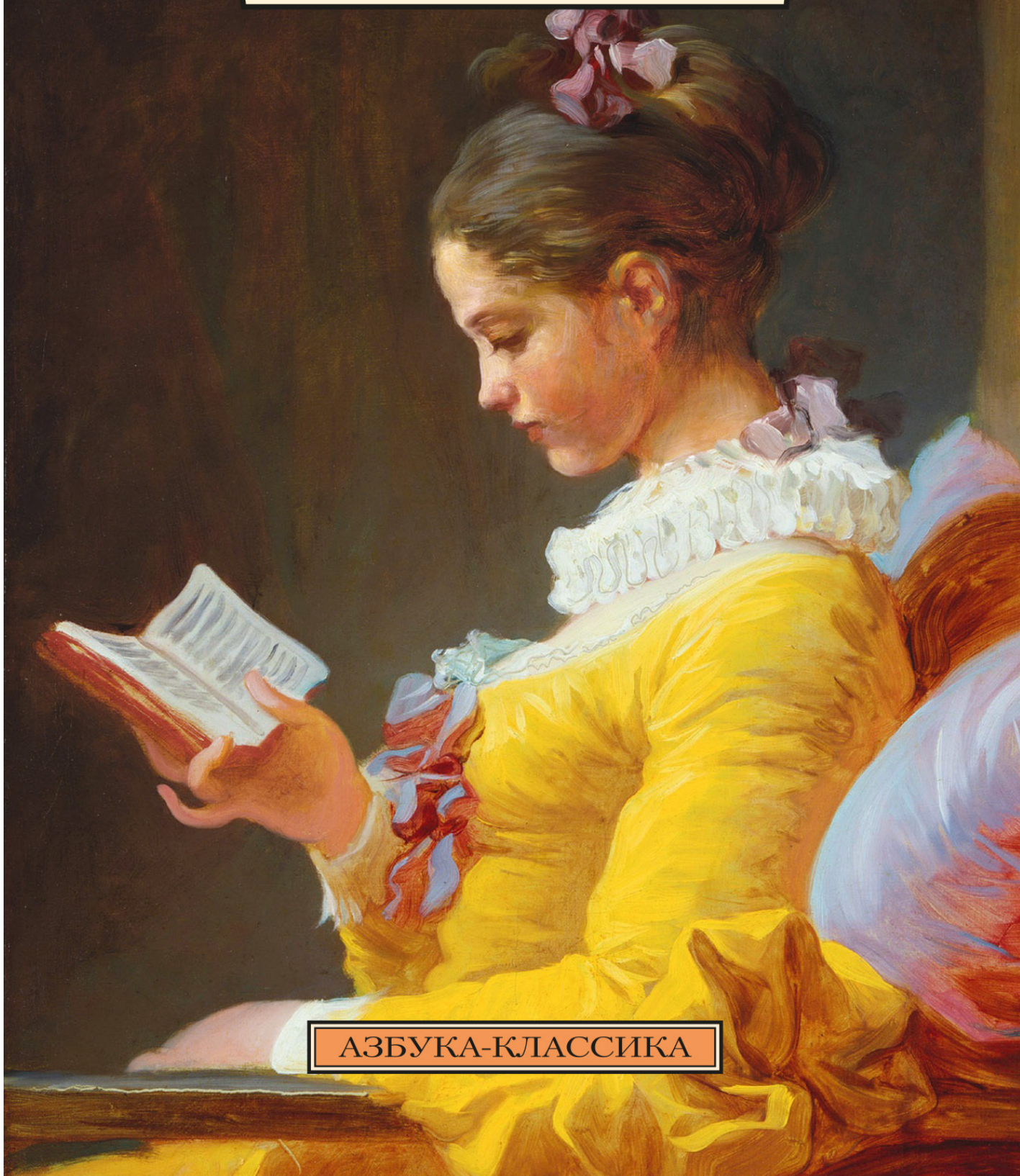


ГЮСТАВ
ФЛОБЕР

*Воспитание
чувств*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Гюстав Флобер
Воспитание чувств

«Азбука-Аттикус»

1869

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Флобер Г.

Воспитание чувств / Г. Флобер — «Азбука-Аттикус»,
1869 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21468-2

Одной из блистательных вершин французской прозы XIX века стал роман Гюстава Флобера «Воспитание чувств». Это, по словам автора, попытка «слить воедино две душевные склонности», два взгляда на вещи – реалистический и лирический. Восемнадцатилетний юноша-романтик отправляется из провинции в Париж изучать право. Подобно Эмме Бовари, Фредерик – мечтатель. В пути он влюбляется, еще не сознавая, что это чувство необратимо, оно изменит все его планы и намерения.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-21468-2

© Флобер Г., 1869
© Азбука-Аттикус, 1869

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	12
III	16
IV	21
V	35
VI	59
Часть вторая	65
I	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Гюстав Флобер

Воспитание чувств

© А. В. Федоров (наследник), перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Часть первая

I

Около шести часов утра 15 сентября 1840 года пароход «Город Монтеро», выпуская густые клубы дыма, готовился отчалить от набережной Святого Бернара.

Спешили запыхавшиеся люди; бочки, канаты, бельевые корзины загораживали дорогу; матросы никому не отвечали; все толкались; в проходе около машин горой лежали тюки, и шум сливался с гудением пара; вырываясь через отверстия в обшивке труб, он заволакивал все белесоватой пеленой, а колокол на баке не переставая звонил.

Наконец судно отвалило, и берега, застроенные складами, верфями и мастерскими, медленно потянулись, развертываясь, точно две широкие ленты.

Молодой человек лет восемнадцати с длинными волосами неподвижно стоял около штурвала, держа под мышкой альбом. Сквозь мглу он всматривался в какие-то колокольни, в какие-то неизвестные здания; потом в последний раз обвел глазами остров Святого Людовика, Старый город, собор Богоматери и наконец глубоко вздохнул: Париж исчезал из глаз.

Господин Фредерик Моро, недавно получивший диплом бакалавра, возвращался в Ножан-на-Сене, где ему предстояло томиться целых два месяца, прежде чем он уедет «изучать право». Мать, снабдив сына необходимой суммой денег, отправила его в Гавр – навестить дядю, который, как она надеялась, мог оставить ему наследство; Фредерик приехал оттуда только накануне и, не имея возможности задержаться в столице, вознаграждал себя тем, что возвращался домой самым длинным путем.

Суматоха улеглась; все разошлись по своим местам; кое-кто стоя грелся у машины; а труба с медленным ритмическим хрипением выбрасывала дым, поднимавшийся черным султаном; на медных частях появились капельки и стекали по ним; палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения, и колеса, быстро вращаясь, разбрасывали брызги.

Река была окаймлена песчаными мелями. По пути встречались то плоты, которые начинали раскачиваться на волнах от парохода, то какая-нибудь лодка без парусов, а в ней – человек, удивший рыбу; вскоре зыбкая мгла рассеялась, показалось солнце, холм, возвышавшийся на правом берегу Сены, стал постепенно понижаться, а на противоположном берегу, еще ближе к реке, появился новый холм.

Он увенчан был деревьями, среди них мелькали приземистые домики с крышами в итальянском вкусе. Вокруг них – сады, спускающиеся по склону и отделенные друг от друга новенькими оградами, железные решетки, газоны, теплицы и вазы с геранью, симметрично расставленные на перилах, на которые можно было облокотиться. Не один путешественник, завидев эти нарядные приюты отдохновения, жалел, что не он их владелец, и рад был бы прожить здесь до конца своих дней с хорошим бильярдом, лодкой, подругой или каким-нибудь иным предметом мечтаний. Удовольствие, которое испытывали впервые совершавшие путешествие по воде, способствовало сердечным излияниям. Весельчаки начинали шутить. Раздавались песни. Было весело. Кое-кто уже приложился к рюмке.

Фредерик думал о комнате, в которой ему предстояло жить, о плане драмы, о сюжетах для картин, о будущих любовных увлечениях. Он находил, что счастье, которого заслуживало совершенство его души, медлит. Он декламировал про себя меланхолические стихи; нетерпеливо расхаживал по палубе; дошел до конца ее, где висел колокол, и здесь, среди пассажиров и матросов, увидел господина, который развлекал комплиментами какую-то крестьянку и при этом вертел золотой крестик, висевший у нее на груди. Мужчина был весельчак, курчавый, лет сорока. Коренастую фигуру его плотно облегал черная бархатная куртка, на манжетах бати-

стовой сорочки сверкали две изумрудные запонки, а из-под широких белых панталон видны были какие-то необыкновенные сапоги из красного сафьяна с синими узорами.

Его не смутило присутствие Фредерика. Он несколько раз к нему оборачивался и подмигивал, словно хотел с ним заговорить; потом угостил сигарами всех стоявших вокруг. Но, соскучившись, видимо, в этой компании, вскоре отошел. Фредерик последовал за ним.

Вначале разговор касался различных сортов табака, потом самым естественным образом перешел на женщин. Господин в красных сапогах дал молодому человеку несколько советов; он развивал теории, рассказывал анекдоты, ссылаясь на собственный опыт и вел свой развращающий рассказ отеческим, забавно простодушным тоном.

Он называл себя республиканцем; он много путешествовал, был знаком с закулисной жизнью театров, ресторанов, газет и со всеми артистическими знаменитостями, которых фамильярно называл по имени; Фредерик вскоре поделился с ним своими планами; он их одобрил.

Но, внезапно прервав разговор, взглянул на трубу парохода, потом, быстро бормоча, стал производить длинные вычисления, чтобы узнать, «сколько получится, если поршень сделает в минуту столько-то ходов», и т. д. А когда цифра была определена, начал восхищаться пейзажем. По его словам, он был счастлив, что теперь отдыхает от всяких дел.

Фредерик чувствовал некоторое почтение к нему и не устоял против желания узнать, как его зовут. Незнакомец ответил, не переводя дыхания:

– Жак Арну, владелец «Художественной промышленности» на бульваре Монмартр.

Слуга в фуражке с золотым галуном подошел к нему и сказал:

– Не пройдете ли вниз, сударь? Барышня плачет.

Он исчез.

В «Художественной промышленности», предприятии смешанном, объединялись газета, посвященная живописи, и лавка, где торговали картинами. Это название Фредерику неоднократно приходилось читать в родном городе, на огромных объявлениях, у книготорговца, где имя Жака Арну занимало видное место.

Солнце стояло над самой головой, в его лучах сверкали железные скрепы мачт, металлическая обшивка судна и поверхность воды; от носа парохода расходились две борозды, тянувшиеся до самых лугов. При каждом повороте реки взгляд вновь встречал все те же ряды серебристых тополей. Берега были совсем безлюдны. В небе застыли белые облачка, и скука, смутно разлитая повсюду, казалось, замедляла движение парохода и придавала путешественникам еще более невзрачный вид.

За исключением нескольких буржуа, ехавших в первом классе, все это были рабочие и лавочники с женами и детьми. В ту пору принято было похуже одеваться в дорогу, поэтому почти все были в каких-то старых шапках или вылинявших шляпах, в обтрепанных черных фраках, истершихся за канцелярскими столами, или же в сюртуках, так долго служивших их владельцам за прилавком магазина, что продралась вся материя на пуговицах; кое у кого под жилетом с отворотами виднелась коленкоровая рубашка, забрызганная кофе; галстуки, превратившиеся в тряпку, были заколоты булавками из накладного золота; матерчатые туфли придерживались штрипками. Какие-то подозрительные личности, с бамбуковыми тростями на кожаных петлях, косились по сторонам, а отцы семейств тарасили глаза и приставали ко всем с вопросами. Одни разговаривали стоя, другие – присев на свои пожитки; некоторые спали, забившись в угол; кое-кто занялся едой. На палубе валялись ореховая скорлупа, окурки сигар, кожура от груш, обрезки колбасы, принесенной в бумаге; три столяра, одетых в блузы, не отходили от буфетной стойки; арфист в лохмотьях отдыхал, облокотившись на свой инструмент; по временам слышно было, как в топку бросают уголь, раздавались возгласы, смех; а капитан все время шагал по мостику от одного кожуха к другому. Чтобы пройти к своему месту, Фредерик толкнул дверцу в первый класс, потревожив двух охотников с собаками.

И словно видение предстало ему.

Она сидела посередине скамейки одна; по крайней мере, он больше никого не заметил, ослепленный сиянием ее глаз. Как раз когда он проходил, она подняла голову; он невольно склонился и только потом, когда сам занял место, немного подальше, с той же стороны, что и она, стал смотреть на нее.

На ней была соломенная шляпа с широкими полями и розовыми лентами, развевавшимися по ветру за ее спиной. Гладко причесанные черные волосы, собранные очень низко, спускались на щеки, касаясь кончиков длинных бровей, и, словно ласковыми ладонями, сжимали ее овальное лицо. Платье из светлой кисеи с мушками ложилось многочисленными складками. Она что-то вышивала; ее прямой нос, ее подбородок, вся ее фигура вырисовывались на фоне голубого неба.

Она продолжала сидеть все в той же позе, а он несколько раз прошелся взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, потом остановился возле ее зонтика, прислоненного к скамейке, и притворился, будто следит за лодкой на реке.

Никогда не видел он такой восхитительной смуглой кожи, такого чарующего стана, таких тонких пальцев, просвечивающих на солнце. На ее рабочую корзинку он глядел с изумлением, словно на что-то необыкновенное. Как ее зовут, откуда она, что у нее в прошлом? Ему хотелось увидеть обстановку ее комнаты, все платья, которые она когда-либо надевала, людей, с которыми она знакома; и даже стремление обладать ею исчезало перед желанием более глубоким, перед мучительным любопытством, которому не было предела.

Подошла негритянка с косынкой на голове, ведя за руку девочку, довольно большую. Ребенок только что проснулся и был весь в слезах. Она посадила девочку к себе на колени: «Девушка плохо себя ведет, а ведь ей скоро уже семь лет; мама ее разлюбит; слишком часто прощаются ей капризы». И Фредерик радостно слушал, точно все это было для него откровением.

Уж не андалузка ли она родом или креолка? И не с островов ли вывезла она эту негритянку?

За ее спиной, на медной обшивке борта, лежала длинная шаль с лиловыми полосами. Не раз, наверное, на море, в сырые вечера, она куталась в эту шаль, укрывала ею ноги, спала в ней! Но бахрома перетягивала шаль вниз, она постепенно скользила – вот-вот упадет в реку. Фредерик бросился и подхватил ее. Дама сказала:

– Благодарю вас, сударь.

Глаза их встретились.

– Жена, ты готова? – крикнул г-н Арну, появляясь на лестнице.

Мадемуазель Марта побежала к нему, повисла у него на шее и стала дергать за усы. Раздались звуки арфы, девочке захотелось «посмотреть на музыку», и вскоре негритянка, посланная за арфистом, привела его в первый класс. Арну узнал в нем бывшего натурщика; к удивлению присутствующих, он стал говорить ему «ты». Но вот арфист откинул свои длинные волосы, вытянул руки и начал играть.

То был восточный романс, где речь шла о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел обо всем этом пронзительным голосом; стук машины врвался в мелодию, нарушая такт; арфист сильнее ударял по струнам; они дрожали, и, казалось, в их металлических звуках слышны были рыдания и жалобы гордой, но побежденной любви. Леса, тянувшиеся по обоим берегам, спускались к самой воде; проносился свежий ветерок; г-жа Арну с рассеянным видом глядела вдаль. Когда музыка умолкла, она несколько раз сомкнула и разомкнула веки, словно пробуждаясь от сна.

Арфист смиренно приблизился к ним. Пока Арну искал мелочь, Фредерик протянул руку и, стыдливо разжав ее над фуражкой музыканта, положил туда луидор. Не тщеславие побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души, почти благоговейный, к которому он мысленно приобщил и ее.

Арну, пропуская его вперед себя, стал дружески уговаривать его пройти вниз. Фредерик уверял, что сейчас только позавтракал; на самом деле он умирал от голода, а в кошельке у него не было уже ни сантима.

Но тут же он решил, что имеет право, как и всякий другой, находиться в каюте.

Несколько буржуа, сидя за круглыми столами, уже ели; между ними сновал официант; супруги Арну расположились в глубине направо; Фредерик сел на длинный бархатный диванчик, убрав газету, лежавшую там.

В Монтеро им предстояло пересечь в шалонский дилижанс. Их путешествие по Швейцарии рассчитано на месяц. Г-жа Арну упрекнула мужа в том, что он слишком балует ребенка. Он что-то шепнул ей на ухо, должно быть какую-нибудь любезность, потому что она улыбнулась. Потом он встал и задернул занавески на окне за ее спиной.

Низкий белый потолок резко отражал свет. Фредерик, сидевший против нее, различал тень от ее ресниц. Она прикасалась губами к стакану, отламывала кусочки хлеба; медальон из бирюзы на золотом браслете в виде цепочки время от времени позвякивал, ударяясь о тарелку. А те, что были кругом, как будто и не замечали ее.

Иногда в иллюминатор можно было увидеть борт лодки, причаливавшей к пароходу, чтобы принять или высадить пассажиров. Люди, сидевшие за столами, наклонялись к окошку и называли местность.

Арну выражал недовольство поваром, а когда подали счет, возмутился и потребовал, чтобы сбавили цену. Затем он повел молодого человека на бак – выпить грогу, но Фредерик скоро вернулся под тент, куда снова пришла г-жа Арну. Она читала тоненькую книжку в серой обложке. Уголки ее рта временами приподнимались, и словно луч удовольствия озарял ее лицо. Он позавидовал тому, кто сочинил все эти вещи, видимо занимавшие ее. Чем больше он любовался ею, тем сильнее чувствовал, как между нею и им возникает пропасть. Он думал о том, что вот сейчас надо будет расстаться с ней навсегда, не дождавшись от нее ни единого слова, не оставив у нее даже воспоминания!

Справа была равнина; налево пастбище тянулось по склону холма, где виднелись виноградники, орешник, мельница вся в зелени, а дальше тропинки зигзагами вились по белой скале, уходившей в небо. Какое счастье подниматься рядом с нею на холм, обняв ее за талию, меж тем как платье ее будет задевать пожелтевшие листья, – и слушать ее голос, видеть сияние ее глаз! Пароход мог бы остановиться, им стоило лишь сойти на берег; но все то, что казалось так просто, было не легче, чем повернуть солнце!

Немного дальше открылся замок с остроконечной крышей, с четырехугольными башенками. Перед его фасадом расстилались цветники, а липовые аллеи уходили в глубь парка, смыкаясь высокими темными сводами. Он представил себе, что она гуляет вдоль живой изгороди. В эту минуту на крыльцо, где стояли кадки с померанцевыми деревьями, вышли дама и молодой человек. Потом все скрылось.

Подле него играла девочка. Фредерик хотел ее поцеловать. Она спряталась за няниной спиной; мать пожурила ее за то, что она нелюбезна с господином, который спас шаль. Не приглашение ли это вступить в беседу?

«Быть может, теперь она заговорит со мной?» – спрашивал он себя.

Времени оставалось мало. Как добиться приглашения к Арну? И Фредерик не придумал ничего лучшего, как обратить его внимание на осенние тона пейзажа, и прибавил:

– Недалеко уже и зима, время балов и обедов!

Но Арну всецело был поглощен своим багажом. Показался сюрвильский берег, приближались мосты; вот миновали канатный завод, ряд низких домов; на берегу стояли котлы с дегтем, разбросаны были щепки, а на песке вертелись колесом мальчишки. Фредерик узнал человека в куртке и закричал ему:

– Поскорей!

Причалили. Он с трудом отыскал Арну в толпе пассажиров, и тот, пожимая ему руку, сказал:

– Всех благ, дражайший.

Выйдя на набережную, Фредерик оглянулся. Она стояла около руля. Он обратился к ней взгляд, в который хотел вложить всю свою душу: она не пошевелилась, как будто ничего не произошло. Не отвечая на приветствие слуги, Фредерик прикрикнул на него:

– Почему ты не подъехал ближе?

Слуга стал извиняться.

– Какой бестолковый! Дай мне денег!

И Фредерик отправился в харчевню поесть. Четверть часа спустя ему захотелось как бы невзначай зайти на почтовый двор. Не увидит ли он ее еще раз?

«К чему?» – спросил он себя.

И, сев в американку, поехал. Не обе лошади принадлежали его матери. Вторую она попросила у г-на Шамбриона, сборщика податей. Исидор, выехавший накануне, до вечера отдыхал в Брэ, а ночевал в Монтеро, так что лошади, передохнув, теперь бежали резво.

Без конца тянулись жнивья. Дорогу окаймляли два ряда деревьев, мелькали одна за другой кучи булыжника, и мало-помалу Фредерику вспомнилось все путешествие – Вильнев – Сен-Жорж, Аблон, Шатийон, Корбей и другие места, – вспомнилось так ярко, что теперь он различил новые подробности, более тонкие черты. Из-под нижней оборки ее платья выступала ножка в узком шелковом башмачке коричневого цвета; тиковый тент поднимался над ее головой, как широкий балдахин, и красные кисточки его бахромы все время трепетали от ветра.

Она была похожа на женщин из книг романтиков. Он ничего бы не прибавил к ее облику, ничего бы не убавил в нем. Мир внезапно расширился. Она была той лучезарной точкой, в которой сосредоточивался смысл бытия, и, убаюканный движением экипажа, он устремил взгляд к облакам, полузакрыв веки и весь отдался радости мечтательной и беспредельной.

В Брэ он не стал ждать, пока лошадям зададут овса, и один пошел вперед по дороге. Арну звал ее «Мария». Он крикнул громко: «Мария!» Голос его замер в воздухе.

Небо на западе пылало широким пурпурным пламенем. Большие скирды ржи, подымавшиеся среди сжатых полей, отбрасывали огромные тени. Вдали, где-то на ферме, залаяла собака. Он вздрогнул, охваченный необъяснимым волнением.

Когда Исидор догнал его, он сел на козлы, чтобы править самому. Неуверенность миновала. Он твердо решил во что бы то ни стало войти в дом супругов Арну и ближе познакомиться с ними. У них должно быть весело, к тому же и сам Арну ему нравился; а там – как знать? Лицо у него зарделось, в висках стучало, он щелкнул бичом, дернул вожжи, и лошади так понесли, что старый кучер то и дело повторял:

– Потише! Да потише! Вы их загоните.

Фредерик понемногу успокоился и стал слушать, что рассказывал слуга.

Молодого хозяина ждут с нетерпением. Мадемуазель Луиза даже плакала – так ей хотелось поехать ему навстречу.

– Какая мадемуазель Луиза?

– Да дочка господина Рокка!

– Ах, я и забыл! – небрежно ответил Фредерик.

Между тем лошади выбились из сил. Обе они хромали, и на башне Св. Лаврентия пробило уже девять, когда Фредерик прибыл на Оружейную площадь, где стоял дом его матери. Этот просторный дом с садом, выходящим в поле, придавал еще больше веса г-же Моро, самой уважаемой особе во всей округе.

Она происходила из старинного дворянского рода, теперь угасшего. Муж ее, плебей, за которого выдали ее родители, погиб на дуэли, когда она была беременна, и оставил ей расстроенное состояние. Она принимала у себя три раза в неделю и время от времени давала пре-

красные званые обеды. Но каждая свеча заранее была на счету, а арендная плата ожидалась с нетерпением. Эта ограниченность средств, которую она скрывала как порок, была причиной ее постоянной озабоченности. Но добродетель проявлялась у нее без ханжества, без озлобления. Малейшая ее милостыня казалась величайшим благодеянием. С ней советовались о выборе прислуги, о воспитании молодых девиц, о том, как варить варенье, и его преосвященство, когда объезжал епархию, останавливался у нее.

Госпожа Моро питала в отношении своего сына честолюбивые надежды. Она, как бы заранее принимая меры предосторожности, не любила, когда при ней порицали правительство. В первое время Фредерику необходима будет протекция; потом, благодаря своим способностям, он станет советником, посланником, министром. Его успехи в Санском коллеже давали основание для ее гордости: он получил первую награду.

Когда он вошел в гостиную, все с шумом поднялись, его стали обнимать; потом расставили стулья и кресла широким полукругом у камина. Г-н Гамблен тотчас же спросил его, как он смотрит на дело г-жи Лафорж. Этот нашумевший процесс сразу же вызвал горячий спор; правда, г-жа Моро, к сожалению г-на Гамблена, прекратила его; гость же видел в нем пользу для молодого человека – будущего юриста – и с обидой покинул гостиную.

Впрочем, чему тут было удивляться, раз это приятель дядюшки Рокка? В связи с дядюшкой Рокком речь зашла и о г-не Дамбрёзе, который только что приобрел поместье Ла Фортель. Но Фредерика уже отвел в сторону сборщик податей, интересуясь его мнением о последнем труде г-на Гизо. Все желали узнать, каковы дела Фредерика, и г-жа Бенуа ловко приступила к расспросам, справившись о здоровье дядюшки. Как поживает этот милый родственник? О нем что-то ничего не слышно. Ведь у него есть в Америке троюродный брат?

Кухарка доложила, что г-ну Фредерику подано кушать. Гости из скромности удалились. А когда мать и сын остались одни, она вполголоса спросила:

– Ну что?

Старик принял его очень сердечно, но своих намерений не открывал.

Госпожа Моро вздохнула.

«Где-то она сейчас? – думал он. – Дилижанс катит, и, наверно, закутавшись в шаль, она дремлет, прислонясь прелестной головкой к суконной обивке кареты».

Когда они уже поднимались в свои спальни, мальчик из гостиницы «Созвездие лебеда» принес записку.

– Что такое?

– Делорье просит меня выйти к нему, – ответил Фредерик.

– А! Твой товарищ! – с презрением усмехнулась г-жа Моро. – Нашел время, право!

Фредерик был в нерешительности. Но дружба пересилила. Он взялся за шляпу.

– По крайней мере, не уходи надолго, – сказала ему мать.

II

Отец Шарля Делорье, бывший пехотный капитан, выйдя в отставку в 1818 году, возвратился в Ножан, женился, а на деньги, составлявшие приданое, купил должность судебного пристава, которая еле-еле давала ему средства к существованию. Озлобленный долгой цепью несправедливостей, страдая от старых ран и не переставая жалеть об Императоре, он изливал на окружающих душивший его гнев. Не многих детей колотили так часто, как его сына. Несмотря на побои, мальчуган упорствовал. Если мать пыталась за него заступиться, отец обходился с нею так же грубо, как и с сыном. Наконец капитан засадил его в свою контору, и мальчик целыми днями должен был, согнувшись, переписывать дела, отчего правое плечо у него стало заметно выдаваться.

В 1833 году, по предложению председателя суда, капитан продал контору. Жена его умерла от рака. Он переехал в Дижон; потом, устроившись в Труа, занялся поставкой рекрутов и, добившись для Шарля половинной стипендии, отдал его в Санский коллеж, где с ним и встретился Фредерик. Но одному было двенадцать лет, другому пятнадцать; к тому же характер и происхождение отделяли их друг от друга множеством преград.

В комод у Фредерика водилась всякая снедь, были редкостные вещицы – туалетный прибор, например. Он любил долго спать по утрам, наблюдать полет ласточек, читать драматические пьесы и, жалея о приятностях домашнего существования, находил жизнь в коллеже тяжелой.

Сыну судебного пристава она, наоборот, казалась привольной. Он учился так хорошо, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако – вследствие ли бедности или сварливого нрава – он был окружен глухим недоброжелательством. Но вот однажды случилось, что, когда на дворе перед целой ватагой учеников средних классов служитель обозвал его оборвышем, мальчик схватил его за горло и убил бы, если бы не подоспели три надзирателя. Фредерик в порыве восхищения бросился обнимать его. С того дня и началась у них дружба. Привязанность старшего, несомненно, льстила тщеславию малыша, а старший был счастлив встретить такую преданность.

На время каникул отец не брал его из коллежа. Перевод Платона, случайно попавшийся Шарлю, привел его в восхищение. Он увлекся метафизикой и быстро сделал большие успехи, ибо за изучение ее он взялся полный юной силы, с гордостью пробуждающегося сознания; Жуффруа, Кузен, Ларомигьер, Мальбранш, шотландцы – все, что имелось в библиотеке, было прочитано. Ему пришлось украсть ключ, чтобы добывать книги...

Развлечения Фредерика были менее серьезного свойства. На улице Трех Волхвов он срисовал родословную Христа, вырезанную на одной из колонн, потом изобразил портал собора. После средневековых драм он взялся за мемуары Фруассара, Комина, Пьера де Летуаля, Брантома. Образы, которые это чтение вызывало в его уме, так его захватили, что он чувствовал потребность их воспроизвести. Он лелеял гордую надежду стать со временем французским Вальтером Скоттом. А Делорье обдумывал обширную философскую систему, которая могла бы иметь самое широкое применение.

Они разговаривали обо всем этом на переменах, во дворе, перед нравоучительной надписью под часами; они перешептывались в капелле под самым носом у Людовика Святого; они мечтали о том же и в дортуаре, окна которого выходили на кладбище. В дни, когда бывала прогулка, они становились в последней паре и болтали без умолку.

Они говорили о том, что будут делать, когда окончат коллеж. Прежде всего они предпримут большое путешествие – на те деньги, что Фредерик, достигнув совершеннолетия, получит со своего капитала. Потом они возвратятся в Париж, станут вместе работать, никогда не разлучаясь, а от своих трудов будут отдыхать, наслаждаясь любовью принцесс в атласных будуа-

рах или тешась шумными оргиями со знаменитыми куртизанками. Взлеты надежды сменялись сомнениями. После приступов веселой болтливости наступало глубокое молчание.

Летними вечерами они долго бродили по каменистым дорожкам вдоль виноградников или по большой дороге между полей, где, освещенные заходящим солнцем, колыхались колося и веял запах дягиля; когда им становилось душно, они бросались на землю, ложились на спину, одурманенные, опьяненные. Их товарищи в одних жилетах бегали вперегонки или пускали воздушных змеев. Надзиратель их сзывал. Домой возвращались вдоль садов, пересеченных ручейками, потом шли бульварами в тени старых стен; шаги гулко отдавались среди пустынных улиц; открывалась калитка, все поднимались по лестнице, и ими овладевала тоска, как после бурного кутежа.

Господин инспектор утверждал, что они только будоражат друг друга. Однако если в старших классах Фредерик проявлял хоть какое-то усердие, то лишь благодаря увещаниям товарища; а на каникулы в 1837 году он повез Делорье к своей матери.

Молодой человек не понравился г-же Моро. Ел он необычайно много, отказывался ходить по воскресеньям в церковь, рассуждал в республиканском духе, наконец до нее дошел слух, что он водил ее сына в непотребные места. За ними стали следить. От этого мальчики еще больше прежнего привязались друг к другу, и когда на следующий год Делорье покинул коллеж и уехал в Париж изучать право, расставание было мучительным.

Фредерик рассчитывал там встретиться с ним. Они не виделись уже два года; когда они кончили обниматься, то пошли к мостам, чтобы как следует наговориться.

Сын у отца потребовал отчета по опеке, и капитан – он содержал теперь бильярдный зал в Вильноксе – пришел в ярость и наотрез отказал ему в поддержке. Мечтая в будущем получить по конкурсу профессорскую кафедру, а сейчас вовсе не имея денег, Делорье поступил старшим клерком к адвокату в Труа. Он намеревался ценою всяческих лишений скопить четыре тысячи франков, и если ему даже ничего не достанется из материнского наследства, все же у него будут средства, чтобы спокойно заниматься в течение трех лет, в ожидании места. Значит, надо было отказаться, по крайней мере сейчас, от их давнего плана – вместе поселиться в столице.

Фредерик поник головой. Вот и рушилась первая его мечта.

– Утешься, – сказал сын капитана, – жить нам еще долго, мы молоды. Я к тебе приеду! Брось об этом думать!

Он потряс друга за руки и, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, начал расспрашивать о путешествии.

Фредерик мало что мог рассказать. Но при воспоминании о г-же Арну его печаль рассеялась. Он не стал говорить о ней – его удерживала стыдливость. Зато он распространялся об Арну: что тот говорил, какие у него манеры, какие связи; и Делорье настойчиво советовал ему поддерживать это знакомство.

Фредерик последнее время ничего не писал; его литературные взгляды изменились; он выше всего ставил страсть: Вертер, Рене, Франк, Лара, Лелия и другие, менее замечательные персонажи восхищали его почти в равной мере. А порою ему казалось, что только музыка способна выразить его глубокое волнение; тогда он грезил симфониями; порою же его увлекал внешний облик предметов, и тогда ему хотелось быть живописцем. Впрочем, он сочинял и стихи; Делорье очень одобрил их, но не просил почитать еще.

Сам же он забросил метафизику. Теперь его занимали социальная экономия и французская революция. Он был высокий малый двадцати двух лет, худой, с большим ртом, решительный на вид. В тот вечер на нем было скверное люстриновое пальто, а башмаки его побелели от пыли, так как он пешком проделал весь путь от Вильнокса, только чтобы повидать Фредерика.

К ним навстречу шел Исидор. Г-жа Моро просит г-на Фредерика вернуться, она боится, как бы он не озяб, и посылает ему плащ.

– Да не торопись! – сказал Делорье.

И они продолжали ходить из конца в конец по обоим мостам, что ведут на остров, образуемый каналом и рекою.

Когда они поворачивали в сторону Ножана, прямо перед ними появлялись дома, спускающиеся по склону; направо, из-за лесопилен с закрытыми шлюзами, выступала церковь, налево же, окаймленные изгородью из кустарника, тянулись вдоль берега сады, которые лишь с трудом удавалось различить. А по направлению к Парижу дорога спускалась совершенно прямо, и луга уходили в даль, окутанную ночной мглой. Ночь была безмолвная, пронизанная беловатым сиянием. До них доходил запах влажной листвы. От запруженной реки, шагах в ста отсюда, доносился сильный и мягкий шум, похожий на звук прибоя в темноте.

Делорье остановился и сказал:

– Добрые люди мирно спят – вот забавно! Но терпение! Готовится новый восемьдесят девятый год. Мы устали от конституций, хартий, хитростей, всякой лжи. О, если бы у меня была своя газета или кафедра, как бы я все это тряхнул! Но чтобы что-то предпринять, нужны деньги. Вот проклятье – быть сыном кабатчика и растрачивать молодость в погоне за куском хлеба!

Он опустил голову и закусил губы, дрожа от холода в своем легком пальто.

Фредерик накинул ему на плечи половину своего плаща. Они закутались в него и, прижимаясь друг к другу, пошли рядом.

– Как же я буду жить там один, без тебя? – говорил Фредерик. (Горечь друга вновь пробудила в нем тоску.) – Я бы еще, пожалуй, сделал что-нибудь, будь со мной любящая женщина... Чему ты смеешься? Любовь – это пища и как бы атмосфера для таланта. Необычайные переживания порождают высокие творения. Но искать ту, которая мне нужна, – от этого я отказываюсь! Впрочем, даже если я когда-нибудь ее и найду, она меня оттолкнет. Я принадлежу к отверженным, я угасну, владея сокровищем и не зная, был ли то алмаз или бриллиант.

Чья-то тень легла на мостовую, и тотчас же они услышали:

– Мое почтение, господа!

Слова эти произнес маленький человечек в широком коричневом сюртуке и в фуражке, из-под козырька которой торчал острый нос.

– Господин Рокк? – сказал Фредерик.

– Он самый! – ответил голос.

Житель Ножана объяснил свое появление тем, что ходил осматривать волчьи капканы, расставленные им у себя в саду, у реки.

– Так вы вернулись в наши края? Прекрасно! Я это узнал от дочки. В добром здравии, надеюсь? Еще не скоро уезжаете?

И он удалился, недовольный, вероятно, тем, как его встретил Фредерик.

Госпожа Моро и в самом деле не поддерживала с ним знакомства; дядюшка Рокк находился в незаконном сожителстве со своей служанкой и не пользовался уважением, хотя и был агентом по выборам и управляющим у г-на Дамбрёза.

– У банкира, что живет на улице Анжу? – спросил Делорье. – Знаешь, любезнейший, что ты должен был бы сделать?

Исидор во второй раз прервал их беседу. Ему велено непременно привести Фредерика. Г-жу Моро беспокоит его отсутствие.

– Хорошо, хорошо, сейчас, – сказал Делорье, – уж ночевать-то он придет домой. – И прибавил, когда слуга ушел: – Тебе надо бы попросить этого старика, чтоб он ввел тебя к Дамбрёзам; нет ничего полезнее, как бывать в богатом доме! Раз у тебя есть черный фрак и белые перчатки – воспользуйся этим. Тебе следует бывать в таком обществе. Потом ты и меня туда введешь. Ведь это миллионер, подумай только! Постарайся понравиться ему, да и жене его тоже. Сделайся ее любовником!

Фредерик возмутился.

– Да ведь, кажется, я говорю тебе общеизвестные вещи? Вспомни хоть Растиньяка из «Человеческой комедии». Ты добьешься удачи, я уверен.

Фредерик питал такое доверие к Делорье, что даже растерялся, и, забывая о г-же Арну или мысленно применяя к ней то, что было сказано по поводу другой, не мог удержаться от улыбки.

Клерк прибавил:

– И последний мой совет: сдавай экзамены! Звание всегда пригодится. И брось ты своих католических и сатанических поэтов, которые в философии ушли не дальше, чем люди двенадцатого века. Твое отчаяние просто глупо. Самым великим людям еще труднее было начинать, – тому же Мирабо хотя бы. Впрочем, расстанемся мы не на такой уж долгий срок. Мошенника-отца я заставлю вернуть мою долю. Но мне пора идти, прощай! Нет ли у тебя ста су? Мне надо заплатить за обед.

Фредерик дал ему десять франков, остаток от тех денег, что он утром взял у Исидора.

В двадцати туазах от мостов, на левом берегу, в слуховом окне низенького дома блестел огонек.

Делорье заметил его. Сняв шляпу, он торжественным тоном сказал:

– Венера, властительница небес, привет тебе! Но Нишета – мать Целомудрия. Чего о нас только не выдумывали по этому поводу, боже ты мой!

Намек на приключение, в котором участвовали они оба, их развеселил. Идя по улицам, они громко смеялись.

Потом, расплатившись в гостинице, Делорье проводил Фредерика до перекрестка у больницы, и друзья, после долгих объятий, расстались.

III

Прошло два месяца, и вот Фредерик, только утром приехавший в гостиницу на улице Цапли, первым делом решил отправиться с парадным визитом.

Случай ему благоприятствовал. Дядюшка Рокк принес ему сверток с бумагами и просил лично вручить их г-ну Дамбрёзу, а к свертку была приложена незапечатанная записка, в которой он рекомендовал своего молодого земляка.

Госпожу Моро это поручение как будто удивило. А Фредерик и виду не показал, как оно ему приятно.

Господин Дамбрёз был, собственно, графом д'Амбрёз, но с 1825 года, мало-помалу изменяя своему титулу и своему кругу, он обратился к промышленности, и вот, умея проведать обо всем, что творится в любой конторе, принимая участие в любом предприятии, подстерегая всякий благоприятный случай, он, хитрый, как грек, и трудолюбивый, как овернец, нажил, по слухам, значительное состояние; кроме того, он был кавалером Почетного легиона, членом генерального совета в департаменте Обы, депутатом и не сегодня завтра – пэром Франции; будучи человеком услужливым, он надоедал министру непрерывными просьбами о пособиях, орденах, табачных привилегиях, а когда бывал недоволен властью, склонялся в сторону левого центра. Его жена, хорошенькая г-жа Дамбрёз, имя которой встречалось в журналах мод, председательствовала в благотворительных обществах. Угождая герцогиням, она смягчала гнев аристократического предместья и давала повод думать, будто г-н Дамбрёз еще может исправиться и быть полезным.

Молодой человек, собираясь к ним, волновался.

– Лучше было бы надеть фрак. Меня, наверно, пригласят на бал на следующей неделе. Что-то мне скажут?

Мысль о том, что г-н Дамбрёз всего-навсего буржуа, вернула ему прежнюю уверенность, и он смело выпрыгнул из кабриолета на тротуар улицы Анжу.

Толкнув одну половину ворот, он перешел двор, поднялся на ступеньки подъезда и вступил в вестибюль, где пол был выложен пестрым мрамором.

Двойная прямая лестница, устланная красным ковром с медными прутьями, подымалась вдоль высоких стен, отделанных под мрамор. Внизу ее стояло банановое дерево; его широкие листья касались бархата перил. С двух бронзовых канделябров свисали на цепочках фарфоровые шары; через открытые отдушины калорифера проникал тяжелый нагретый воздух; и слышно было только тиканье больших часов, стоявших на другом конце вестибюля под развешанным на стене оружием.

Раздался звонок; появился лакей и провел Фредерика в маленькую комнату, где было два несгораемых шкафа и полки, заваленные папками. Г-н Дамбрёз писал, сидя за полукруглым бюро посередине комнаты.

Он пробежал письмо дядюшки Рокка, вскрыл перочинным ножом холст, в который были зашиты бумаги, и стал просматривать их.

Тонкий и стройный, он издали мог бы сойти за человека еще молодого. Но его редкие седые волосы, хилое тело, а главное, необычайно бледное лицо говорили о расшатанном здоровье. В серо-зеленых глазах, холодных, как стекло, таилась неумолимая энергия. Скулы у него были широкие, суставы на пальцах узловатые.

Наконец он встал и задал молодому человеку несколько вопросов об общих знакомых, о Ножане, о его занятиях; потом легким поклоном дал понять, что не задерживает его. Фредерик вышел другим ходом и очутился в конце двора, около каретных сараев.

Перед подъездом стояла синяя двухместная карета, запряженная вороной лошастью. Дверцу открыли, в экипаж села дама, и он с глухим стуком покатил по песку.

Фредерик оказался у ворот, к которым подошел с другой стороны, в одно время с каретой. Проезд был недостаточно широк, и ему пришлось пропустить ее. Молодая женщина, высунувшись в окошко, тихо что-то сказала привратнику. Фредерик видел ее спину, покрытую фиолетовой накидкой. Но она исчезла внутри кареты, обитой голубым репсом с кистями и шелковой бахромой. Там все заполнял собою наряд дамы; из этой маленькой стеганой шкатулки веяло запахом ириса и как бы смутным благоуханием женской изысканности. Кучер отпустил поводья, лошадь рванула, задела за тумбу, и все скрылось.

Фредерик возвращался пешком по бульварам.

Он жалел, что не мог разглядеть г-жу Дамбрёз.

Уже миновав улицу Монмартр, он повернул голову, привлеченный скоплением экипажей, и на противоположной стороне, прямо против себя, прочитал надпись на мраморной доске:

ЖАК АРНУ

Как это он раньше не подумал о ней? Во всем виноват Делорье. И Фредерик подошел к лавке; однако не вошел; он ждал, не появится ли она.

В большие зеркальные окна были видны искусно размещенные статуэтки, рисунки, гравюры, каталоги, номера «Художественной промышленности», а условия подписки повторялись и на двери, украшенной посередине инициалами издателя. Вдоль стен расставлены были большие картины, блестящие лаком, а в глубине находились две горки с фарфором, бронзой, соблазнительными и занятными вещами; в промежутке между ними начиналась маленькая лестница с триповой портьерой наверху, у выхода на площадку; а люстра старинного саксонского фарфора, зеленый ковер на полу, стол с инкрустацией придавали всему заведению вид скорее гостиной, чем магазина.

Фредерик притворился, будто разглядывает рисунки. После бесконечных колебаний он вошел.

Приказчик откинул портьеру и сообщил, что хозяин не будет «в магазине» до пяти часов. Но если какое поручение, можно передать...

– Нет, я найду еще, – скромно ответил Фредерик.

Следующие дни он занимался поисками квартиры; свой выбор он остановил на помещении в третьем этаже меблированных комнат на улице Святого Гиацинта.

С новеньким бюваром под мышкой он отправился на первую лекцию. Триста молодых людей без шляп наполняли аудиторию, устроенную амфитеатром, а старец в красной мантии излагал что-то монотонным голосом; по бумаге скрипели перья. Здесь был тот же запах пыли, что и в классах коллежа, стояла такая же кафедра, царил та же скука! Целых две недели Фредерик ходил сюда. Но не успели еще коснуться и третьей статьи, как он бросил Гражданский кодекс, а с институциями расстался на *Summa divisio personarum*¹.

Радости, на которые он надеялся, не приходили, и вот, исчерпав все запасы одной из библиотек, бегло осмотрев Лувр и несколько раз подряд побывав в театре, он впал в совершеннейшую праздность.

Тысячи мелочей, до сих пор неизвестных, усугубляли его тоску. Ему приходилось считать белье и терпеть присутствие привратника, невежи с повадками больничного служителя, от которого так и несло алкоголем, когда он с бесконечной воркотней являлся по утрам, чтобы оправить постель. Да и самая комната, украшенная алебастровыми часами, не нравилась Фредерику. Стены были тонкие; он слышал, как студенты варят пунш, смеются, поют.

¹ Основное разделение лиц (субъектов Гражданского права) (лат.).

Устав от одиночества, он решил разыскать одного из своих прежних товарищей – Батиста Мартинона и нашел его в буржуазном пансионе на улице Сен-Жак, где тот у горящего камина зубрил судопроизводство.

Против него сидела женщина в ситцевом платье и штопала носки.

Мартинон был, что называется, красавец-мужчина: высокий, круглолицый, с правильными чертами лица и бледно-голубыми глазами навывкате; его отец, крупный землевладелец, предназначал сына для судейской карьеры, и Мартинон, уже теперь желая казаться солидным, отпустил окладистую бороду.

Так как уныние Фредерика не имело никакой серьезной причины, то его сетования на жизнь остались непонятны Мартинону. Сам он каждое утро посещал лекции, потом гулял в Люксембургском саду, вечером выпивал в кофейной полпорции кофе и, имея полторы тысячи франков в год, наслаждаясь любовью простой мастерицы, считал себя вполне счастливым.

«Что за счастье!» – мысленно воскликнул Фредерик.

В университете же он завел другое знакомство – с г-ном де Сизи, отпрыском знатного рода, приятностью манер напоминавшим девицу.

Господин де Сизи занимался рисованием, увлекался готикой. Несколько раз они вместе ходили любоваться Капеллой и собором Богоматери. Но изысканность молодого патриция скрывала ум самый убогий. Все поражало его; он долго смеялся малейшей шутке и выказывал наивность столь полную, что сперва Фредерик принимал его за шутника, а под конец увидел, что он глуп.

Итак, излить душу было некому; и он все еще ждал приглашения от Дамбрёзов.

На Новый год он послал им визитные карточки, но от них не получил ничего.

Он опять зашел в «Художественную промышленность».

Он зашел туда и в третий раз и застал наконец Арну, который о чем-то спорил, окруженный пятью-шестью посетителями, и едва ответил на его поклон; Фредерика это обидело. Тем не менее он продолжал искать средства, как бы проникнуть к ней.

Сперва он задумал почаще приходить и прицениваться к картинам. Потом решил послать в журнал несколько статей, «да порезче», чтобы таким способом завязать отношения. Может быть, лучше всего прямо пойти к цели, признаться в любви? И он сочинил письмо в двенадцать страниц, полное лирических порывов и риторических обращений, но разорвал его и ничего не сделал, ничего не предпринял, скованный боязнью неудачи.

Над магазином Арну, во втором этаже, было три окна, где по вечерам всегда горел свет. Там двигались тени, особенно одна – ее тень; и он проделывал длинный путь, лишь бы взглянуть на эти окна и посмотреть на эту тень.

Как-то раз в Тюильри ему повстречалась негритянка, которая вела за руку маленькую девочку; она напомнила ему негритянку г-жи Арну. Она, должно быть, как и другие, тоже бывает здесь; и всякий раз, как он проходил через Тюильри, сердце его билось надеждой увидеть ее. В солнечные дни он продолжал свои прогулки вплоть до Елисейских Полей.

Небрежно откинувшись в колясках, чуть покачиваясь, проезжали мимо него женщины с развевающимися от ветра вуалями; мерно двигались лошади, блестящая кожа сидений поскрипывала. Экипажей становилось все больше; начиная от Круглой площадки, они замедляли движение и запружали всю дорогу – грива к гриве, фонарь к фонарю; стальные стремяна, серебряные уздечки, медные пряжки то тут, то там выделялись блестящими точками среди мелькания рейтузов, белых перчаток и мехов, которые свешивались на гербы, украшавшие дверцы карет. Он чувствовал себя словно затерянным среди какого-то чуждого мира. Его глаза, блуждая, следили за женскими головками, и даже смутные черты сходства вызывали в его памяти г-жу Арну. Он представлял себе, как она, среди толпы других, сидит в одной из этих маленьких карет, похожих на карету г-жи Дамбрёз. Но солнце заходило, и холодный ветер поднимал облака пыли. Кучера прятали подбородки в воротники, колеса вертелись быстрее, макадамо-

вая мостовая скрипела; и все экипажи мчались по длинной аллее, друг друга задевая, обгоняя, друг от друга удаляясь, а потом, на площади Согласия, разъезжались в разные стороны. За Тюильри небо окрашивалось в аспидный цвет. Деревья сада сливались в два огромных массива; вершины их еще лиловели. Зажигались газовые рожки, а Сена, зеленоватая на всем своем протяжении, покрывалась у мостовых быков серебристой рябью.

Фредерик ходил обедать по абонементу за сорок три су в ресторан на улице Лагарпа.

Он с пренебрежением смотрел на старую стойку красного дерева, на грязные салфетки, на неопрятное серебро и на шляпы, висевшие на стене. Его окружали студенты, такие же как он сам. Они разговаривали о своих профессорах, о своих любовницах. Какое ему дело до профессоров? И разве у него есть любовница? Избегая их веселого общества, он приходил как можно позже. Со столов еще не были убраны объедки. Оба лакея, усталые, дремали в углу, и запах кухни, ламп и табака наполнял опустевшую комнату.

Потом он медленно возвращался. Покачивались фонари, на лужах дрожали длинные желтоватые отсветы. Вдоль тротуаров скользили тени под зонтиками. На мостовой было грязно, опускалась мгла, и ему казалось, что этот безграничный сырой мрак, окутывая его, обволакивает и его душу.

Дали себя знать угрызения совести. Он опять стал ходить на лекции. Но так как из того, что уже объяснялось раньше, он ничего не знал, то даже самые простые вещи затрудняли его.

Он начал писать роман под заглавием «Сильвио, сын рыбака». Дело происходило в Венеции. Героем был он сам, героиней – г-жа Арну. Называлась она Антония, и, чтобы овладеть ею, он убивал несколько дворян, сжигал часть города и пел под ее балконом, где развевались от дуновения ветерка красные штофные занавески, как на бульваре Монмартр. Совпадения с действительностью, слишком уж частые, совсем смутили его, когда он их заметил; он не стал продолжать, и бездействие его еще усилилось.

Тогда он стал умолять Делорье приехать и поселиться вместе с ним. Они устроятся и сумеют прожить на две тысячи франков, получаемые им на содержание; все лучше, чем эта нестерпимая жизнь. Делорье еще не мог уехать из Труа. Он рекомендовал Фредерику развлекаться и посещать Сенекаля.

Сенекаль был учитель математики, человек великого ума и республиканских убеждений, будущий Сен-Жюст, по словам клерка. Фредерик три раза поднимался к нему на шестой этаж, но визит ему так и не был отдан. Больше он туда не пошел.

Ему захотелось развлечься. Он стал ходить на балы Оперы. Не успевал он войти, как это бурное веселье обдавало его холодом. К тому же его удерживали и опасения меркантильного свойства, так как он воображал, будто ужин с маской требует огромных расходов и представляет собой рискованное похождение.

А между тем ему казалось, что его должны любить. Порою он просыпался полный надежд, тщательно одевался, точно готовясь к свиданию, и совершал по Парижу бесконечные прогулки. Каждый раз, завидев женщину, шедшую впереди или приближавшуюся ему навстречу, он говорил себе: «Вот она!» – и каждый раз это было новое разочарование. Мысль о г-же Арну еще усиливала его вожеления. Он, может быть, встретит ее на своем пути; мечта приблизиться к ней, он рисовал в своем воображении странные стечения обстоятельств, необыкновенные опасности, от которых он ее спасет.

А дни протекали все с тем же скучным однообразием, в кругу заведенных привычек. Он перелистывал брошюры под аркадами Одеона, ходил в кафе читать «Ревю де Де Монд», заходил на час в какую-нибудь из аудиторий Французского коллежа – послушать лекцию о китайском языке или о политической экономии. Каждую неделю он писал пространные письма Делорье, время от времени обедал с Мартиноном, иногда встречался с г-ном де Сизи.

Он взял напрокат рояль и стал сочинять вальсы в немецком духе.

Однажды вечером в театре Пале-Рояль он в одной из литерных лож заметил Арну и рядом с ним женщину. Она ли это? Экран из зеленой тафты на барьере ложи закрывал ее лицо. Наконец занавес поднялся, экран убрали. Это была особа высокого роста, лет тридцати, уже поблекшая, с толстыми губами; когда она смеялась, открывался ряд великолепных зубов. Она фамиллярно разговаривала с Арну и похлопывала его веером по пальцам. Потом показалась белокурая девушка с красноватыми, словно от слез, веками и села между ними. Теперь Арну склонился к ее плечу, что-то ей говорил, она слушала и не отвечала. Фредерик изошрялся в догадках, кто такие эти женщины, одетые в простые темные платья с гладкими отложными воротничками.

Когда представление окончилось, он поспешил в коридоры. Толпа заполняла их. Арну впереди него медленно спускался по лестнице, держа под руку обеих женщин.

Вдруг на него упал свет газового рожка. На его шляпе был креп. Не умерла ли она? Эта мысль так мучила Фредерика, что на другой же день он побежал в «Художественную промышленность», наскоро выбрал одну из гравюр, выставленных на витрине, и, расплачиваясь, спросил приказчика, как чувствует себя г-н Арну.

Приказчик ответил:

– Превосходно.

Фредерик, бледнея, задал и второй вопрос:

– А госпожа Арну?

– Госпожа Арну – тоже.

Фредерик даже забыл взять гравюру.

Зима кончилась. Весной ему было не так тоскливо, он стал готовиться к экзамену и, выдержав его посредственно, сразу же уехал в Ножан.

В Труа, к своему другу, он не наведился, чтобы не дать матери повода к замечаниям. По возвращении в Париж он отказался от прошлогодней квартиры, нанял на набережной Наполеона две комнаты и обставил их. Он уже не надеялся на приглашение к Дамбрёзам; великая страсть к г-же Арну начинала угасать.

IV

Однажды декабрьским утром, когда он шел на лекцию по судопроизводству, ему показалось, что на улице Сен-Жак больше оживления, чем обычно. Студенты стремительно выходили из кафе, другие перекликались в открытые окна своих квартир; лавочники, вышедшие на тротуар, с беспокойством глядели по сторонам; закрывались ставни; а когда он попал на улицу Суффло, то увидел огромную толпу, окружавшую Пантеон.

Молодые люди, кучками от пяти до двенадцати человек, прогуливались, взявшись под руки, и подходили к стоявшим тут и там группам, более многочисленным; в конце площади, у решетки, о чем-то с жаром рассуждали люди в блузах, а полицейские в треуголках набекрень, заложив руки за спину, шагали вдоль стен, звонко ступая тяжелыми сапогами по каменным плитам. Вид у всех был таинственный и недоумевающий; чего-то явно ждали; у каждого на языке так и вертелся вопрос, от которого приходилось воздерживаться.

Фредерик стоял подле молодого благообразного блондина с усами и бородкой, какие носили шеголи времен Людовика XIII. Фредерик спросил его о причине беспорядков.

– Ничего не знаю, – ответил тот, – да и сами они не знают! Теперь у них так принято! Потеха!

И он расхохотался.

Петиции о реформе, распространяемые среди национальной гвардии для сбора подписей, перепись Юмана и другие события уже целых полгода вызывали в Париже непонятные сборища; и повторялись они столь часто, что газеты даже перестали о них упоминать.

– Нет у них ни запала, ни своего лица, – продолжал сосед Фредерика. – Сдается мне, милостивый государь, что мы вырождаемся. В доброе время Людовика Одиннадцатого и даже во времена Бенжамена Констан среди школяров больше было вольнолюбия. Теперь они, по моему, смирны как овечки, глупы как пробки и годны, прости господи, лишь в бакалейщики. И это еще называют студенчеством!

Он сделал широкий жест руками, совсем как Фредерик Леметр в роли Робера Макэра.

– Студенчество, благословляю тебя!

Затем, обратившись к тряпичнику, перебивавшему раковины от устриц подле тумбы у винной лавки, спросил:

– А ты тоже принадлежишь к студенчеству?

Старик поднял безобразное лицо, все покрытое седой щетиной, среди которой выделялись красный нос и бессмысленные пьяные глаза.

– Нет, ты, как мне кажется, скорее из тех, кому не миновать виселицы и кто, снуя в народе, полными пригоршнями сыплет золото... О! Сыпь, патриарше, сыпь! Подкупай меня сокровищами Альбиона! Are you English?² Я не отвергаю даров Артаксеркса! Однако потолкуем о таможенном союзе.

Фредерик почувствовал, как кто-то тронул его за плечо; он обернулся. Это был Мартинон, страшно бледный.

– Ну вот, – сказал он, глубоко вздохнув, – опять бунт!

Он боялся навлечь на себя подозрения и очень сокрушался. Особенно тревожили его люди в блузах, будто бы принадлежавшие к тайным обществам.

– Да разве существуют тайные общества? – сказал молодой человек с усами. – Это все старые сказки, которыми правительство запугивает буржуа!

Мартинон попросил его говорить потише, так как опасался полиции.

² Вы англичанин? (англ.)

– Так вы еще верите в полицию? А в сущности, почем знать, сударь, может быть, я и сам сыщик?

И он с таким видом посмотрел на Мартинона, что тот, перепугавшись, сперва не понял шутки. Толпа оттеснила их, и всем троим пришлось стать на лесенке, ведущей к коридору, за которым находилась новая аудитория с амфитеатром.

Вскоре толпа раздалась сама собой; некоторые сняли шляпы; они приветствовали знаменитого профессора Самюэля Рондело – в широком сюртуке, с очками в серебряной оправе, сдвинутыми на лоб; страдая от одышки, он медленно шел читать лекцию. Это был один из тех, кто в области права составлял гордость XIX века, соперник Цахариев и Рудорфов. Удостоившись недавно звания пэра Франции, он ни в чем не изменил своих привычек. Было известно, что он беден, и все относились к нему с большим уважением.

Между тем в конце площади раздался голоса:

- Долой Гизо!
- Долой Притчарда!
- Долой предателей!
- Долой Луи-Филиппа!

Толпа пришла в движение и, стеснившись у закрытых ворот во двор, не давала профессору пройти. Он остановился у лестницы. Вскоре он оказался на третьей, верхней ступени. Он что-то начал говорить; толпа загудела, заглушая его слова. Только что он был любим, а теперь его уже ненавидели, ибо он представлял собою власть. Всякий раз, как он пытался заговорить громче, крики начинались опять. Он сделал широкий жест, предлагая студентам следовать за ним. Ответом был общий рев. Профессор презрительно пожал плечами и исчез в коридоре. Мартинон воспользовался случаем и скрылся в одно время с ним.

- Этаким трус! – сказал Фредерик.
- Осторожный! – ответил молодой человек.

Толпа разразилась аплодисментами. Отступление профессора было ее победой. Из всех окон выглядывали любопытные. Некоторые запевали «Марсельезу», другие предлагали идти к Беранже.

- К Лаффиту!
- К Шатобриану!
- К Вольтеру! – заорал белокурый молодой человек с усами.

Полицейские старались проложить себе дорогу и говорили как можно мягче:
– Расходитесь, господа; расходитесь по домам!

- Кто-то крикнул:
– Долой убийц!

Со времени сентябрьских волнений это стало обычным бранным словом. Все подхватили его. Блюстителям общественного порядка гикали, свистали; они побледнели; один из них не выдержал и, увидев низенького подростка, подошедшего слишком близко и смеявшегося ему прямо в лицо, оттолкнул его с такой силой, что тот, отлетев шагов на пять, упал навзничь у лавки виноторговца. Все расступились; но почти тотчас же покотился и сам полицейский, сбитый с ног каким-то геркулесом, волосы которого торчали из-под клеенчатой фуражки, точно свалявшаяся пакля.

Тот уже несколько минут стоял на углу улицы Сен-Жак; быстро освободившись от широкой картонки, которую нес, он бросился на полицейского и, подмяв его под себя, изо всей силы принялся барабанить кулаками по его физиономии. Подбежали другие полицейские. Страшный детина был так силен, что для его укрощения потребовалось не менее четырех человек. Двое трясли его за шиворот, двое тащили за руки, пятый коленкой пинал его в зад, и все они ругали его разбойником, убийцей, бунтовщиком, а он, растерзанный, с обнаженной грудью, в

одежде, от которой висели клочья, уверял, что не виноват; не мог он хладнокровно смотреть, как бьют ребенка.

– Меня зовут Дюссардьё. Служу у братьев Валенсар, в магазине кружев и мод, на улице Клери. Где моя картонка? Отдайте мне картонку!

Он все твердил: «Дюссардьё!.. С улицы Клери! Отдайте картонку».

Однако же он смирился и стоически дал увести себя в участок на улицу Декарта. Вслед ему устремился целый поток. Фредерик и усатый молодой человек шли непосредственно за ним, восхищаясь этим приказчиком, негодуя на насилие власти.

Но по мере того как они приближались к цели, толпа рассеивалась.

Полицейские время от времени оборачивались с самым свирепым видом, а так как буйнам больше нечего было делать, зевакам не на что смотреть, все мало-помалу разбрелись. Встречные прохожие разглядывали Дюссардьё и вслух делали оскорбительные замечания. Какая-то старуха даже крикнула со своего порога, что он украл хлеб; эта несправедливость еще усилила раздражение обоих приятелей. Наконец дошли до кордегардии. Оставалось всего человек двадцать. Стоило им увидеть солдат, как разбежались и они.

Фредерик и его товарищ смело потребовали освобождения арестованного. Полицейский пригрозил им, что, если они будут упорствовать, их тоже посадят. Они вызвали начальника, объявили свои фамилии и сказали, что они студенты-юристы, уверяя, что и задержанный их коллега.

Их ввели в совершенно пустую комнату с неоштукатуренными закопченными стенами, вдоль которых стояли четыре скамьи. В задней стене открылось окошечко. Показались огромная голова Дюссардьё, его всклокоченные вихры, маленькие доверчивые глазки, приплюснутый нос – черты, чем-то напоминавшие морду добродушного пса.

– Не узнаешь нас? – сказал Юссонэ. Так звали молодого человека с усами.

– Но... – пробормотал Дюссардьё.

– Брось дурака валять! – продолжал тот. – Ведь известно, что ты студент-юрист, так же как и мы.

Несмотря на их подмигивания, Дюссардьё ничего не соображал. Он как будто хотел собраться с мыслями, потом вдруг спросил:

– Нашли мою картонку?

Фредерик, совсем отчаявшись, возвел глаза к потолку. А Юссонэ ответил:

– А! Папку с записями лекций? Да, да, успокойся!

Они еще усерднее принялись делать ему знаки. Дюссардьё понял наконец, что они пришли ему помочь, и замолчал, боясь невольно выдать себя. К тому же его смущало, что его возвышают до звания студента и приравнивают к молодым людям, у которых такие белые руки.

– Хочешь кому-нибудь что-либо передать?

– Нет, благодарствуйте, никому!

– А родным?

Он опустил голову и не ответил; бедняга был подкидыш. Приятели не могли понять причины молчания.

– Есть у тебя что курить? – опять спросил Фредерик. Тот пощупал у себя в кармане, потом извлек из него обломки трубки, прекрасной пенковой трубки с чубуком черного дерева, серебряной крышкой и мундштуком из янтаря.

Он три года трудился, чтобы довести ее до совершенства. Он всегда держал ее в замшевом футляре, курил как можно медленнее, никогда не клал ее на мрамор и каждый вечер вешал у изголовья своей постели. Теперь он потряхивал осколки в руке, из-под ногтей его сочилась кровь; он опустил голову на грудь и, раскрыв рот, остановившимся, невыразимо печальным взглядом созерцал то, что осталось от его утех.

– Дать ему сигар? А? – шепотом спросил Юссонэ, делая жест, как будто хочет их достать.

Фредерик уже успел положить на окошечко полный портсигар.

– Бери! И до свиданья! Не унывай!

Дюссардые схватил протянутые ему руки. Он вне себя сжимал их, голос его прерывался от слез.

– Как?.. Это мне!.. Мне!

Приятели, чтобы избежать его благодарности, удалились и вместе пошли завтракать в кафе «Табурэ», против Люксембургского сада.

Разрезая бифштекс, Юссонэ сообщил своему спутнику, что он сотрудничает в журналах мод и сочиняет рекламы для «Художественной промышленности».

– У Жака Арну? – спросил Фредерик.

– Вы его знаете?

– Да... То есть нет... То есть я видал его, познакомился с ним.

Он небрежным тоном спросил Юссонэ, встречается ли тот с его женой.

– Иногда, – отвечал сотрапезник.

Фредерик не решился продолжать расспросы; человек этот занял теперь в его жизни огромное место; когда позавтракали, Фредерик заплатил по счету, что не вызвало никаких возражений со стороны Юссонэ.

Симпатия была взаимная; они обменялись адресами, и Юссонэ дружески пригласил его пройтись с ним до улицы Флерюс.

Они находились посреди сада, когда сотрудник Арну, задержав дыхание, вдруг состроил отчаянную гримасу и закричал петухом. И все петухи по соседству ответили ему протяжными «ку-ка-ре-ку».

– Это условный знак, – сказал Юссонэ.

Они остановились около театра Бобино, перед домом, к которому вел узкий проход. На чердаке в окошечке, между настурцией и душистым горошком, показалась молодая женщина, простоволосая, в корсете; она опиралась обеими руками на водосточный желоб.

– Здравствуй, ангел мой, здравствуй, детка! – Юссонэ посылал ей воздушные поцелуи.

Он ногой толкнул калитку и скрылся.

Фредерик ждал его целую неделю. Он не решался идти к нему сам, чтобы не подать вида, будто ему не терпится получить ответное приглашение на завтрак; но он исходил весь Латинский квартал в надежде встретиться с ним. Как-то вечером он столкнулся с Юссонэ и привел его к себе в комнату на набережной Наполеона.

Беседа была продолжительной; они разговорились по душам, Юссонэ мечтал о театральной славе и театральных доходах. Он участвовал в сочинении водевилей, которых никто не ставил, «имел массу планов», придумывал куплеты, некоторые из них пропел. Потом, заметив на этажерке книгу Гюго и томик Ламартина, разразился сарказмами по поводу романтической школы. Эти поэты не обладают ни здравым смыслом, ни даром правильной речи, и не французы они – вот что главное! Он хвалился знанием языка и к самым красивым оборотам придирался с той ворчливой строгостью, с той академичностью вкуса, которой отличаются люди легкомысленные, когда они рассуждают о высоком искусстве.

Фредерик был оскорблен в своих пристрастиях; ему хотелось тут же порвать знакомство. Но почему не рискнуть сразу заговорить о том, от чего зависит его счастье? Он спросил литературного юнца, не может ли тот ввести его к Арну.

Это не представляло трудностей, и они условились на следующий день.

Юссонэ не пришел в назначенное время; затем обманул еще три раза. Явился он однажды в субботу, около четырех часов. Но, пользуясь тем, что был нанят экипаж, он сперва велел остановиться у Французского театра, где должен был получить билет в ложу, заехал к портному, к белошвейке, писал в швейцарских записки. Наконец они прибыли на бульвар Мон-

мартр. Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Арну узнал его, увидав в зеркале, стоявшем против конторки, и, продолжая писать, протянул ему через плечо руку.

В тесной комнате с одним окном во двор столпилось человек пять-шесть; у задней стены в алькове, между двумя портьерами коричневого штофа, был диван, обитый такой же материей. На камине, заваленном всякими бумагами, стояла бронзовая Венера, а по сторонам ее, в полной симметрии, – два канделябра с розовыми свечами. Направо, у этажерки с папками, сидел в кресле человек, так и не снимавший шляпы, и читал газету; стены сплошь были увешаны эстампами и картинами, ценными гравюрами или эскизами современных мастеров, с надписями, в которых выражалась самая искренняя приязнь к Жаку Арну.

– Как живете? – спросил он, обернувшись к Фредерику. И, прежде чем тот успел ответить, шепотом спросил Юссонэ: – Как зовут вашего приятеля? – Потом – опять вслух: – Возьмите сигару, там, на этажерке, в коробке.

«Художественная промышленность», находившаяся в центре Парижа, была удобным местом для встреч, нейтральной территорией, где запросто сходились соперники. В тот день здесь можно было увидеть Антенора Брева, портретиста королей, Жюля Бюрё, который своими рисунками популяризировал алжирские войны, карикатуриста Сомбаза, скульптора Вурда, кой-кого еще; и никто из них не соответствовал представлениям, сложившимся у студента. Манеры у них были простые, речи – вольные. Мистик Ловариас рассказал непристойный анекдот, а у создателя восточного пейзажа, известного Дитмера, под жилетом была надета вязаная фуфайка, и поехал он домой в омнибусе.

Речь шла вначале о некой Аполлонии, бывшей натурщице, которую Бюрё будто бы видел на бульваре, когда она ехала в карете цугом. Юссонэ объяснил эту метаморфозу, перечислив целый ряд ее покровителей.

– Здорово этот молодчик знает парижских девчонок! – сказал Арну.

– Если что останется после вас, ваше величество, – ответил шалун, отдавая честь на военный лад, в подражание гренадеру, который дал Наполеону выпить из своей фляги.

Потом зашел спор о нескольких полотнах, где моделью служила голова Аполлонии. Подверглись критике отсутствующие собратья. Удивлялись высоким ценам на их произведения, и все начали жаловаться, что зарабатывают недостаточно, как вдруг вошел человек среднего роста, во фраке, застегнутом на одну пуговицу; глаза у него были живые, а вид полубезумный.

– Этакие вы мещане! – воскликнул он. – Ну что же из того, помилуйте! Старики, создавшие шедевры, не думали о каких-то миллионах. Корреджо, Мурильо...

– А также Пеллерен, – вставил Сомбаз.

Но тот, не обращая внимания на колкость, продолжал рассуждать с таким пылом, что Арну два раза принужден был повторить ему:

– Моя жена рассчитывает на вас в четверг. Не забудьте!

Эти слова вернули Фредерика к мысли о г-же Арну. В квартиру, наверно, проходят через комнатку, что за диваном? Арну, которому нужно было взять носовой платок, только что отворил туда дверь; у задней стены Фредерик заметил умывальник. Но вот в углу возле камина раздалось какое-то ворчание; оно исходило от субъекта, читавшего газету. Ростом он был пяти футов девяти дюймов, сидел, полузакрыв глаза, волосы у него были седые, вид величавый, и звали его Режембар.

– Что такое, гражданин? – спросил Арну.

– Еще новая низость со стороны правительства!

Дело шло об увольнении какого-то школьного учителя. Пеллерен снова стал проводить параллель между Микеланджело и Шекспиром. Дитмер собрался уходить. Арну догнал его и вручил ему две ассигнации. Юссонэ счел момент благоприятным.

– Не могли бы вы дать мне аванс, дорогой патрон?..

Но Арну опять уселся и теперь разносил какого-то старца в синих очках, весьма противного на вид.

– Ну и хороши же вы, дядюшка Исаак! Обесценены, пропали три картины. Все на меня плюют! Теперь все их знают! Что прикажете с ними делать? В Калифорнию, что ли, их отослать?.. Да к чертям! Замолчите!

Специальность старика заключалась в том, что он подделывал на картинах подписи старых мастеров. Арну отказывался платить и грубо выпроводил его. Совсем по-иному встретил он чопорного господина в орденах, с бакенбардами и в белом галстуке.

Опершись локтем на оконную задвижку, он долго и вкрадчиво что-то говорил ему. А потом разразился:

– Ах, граф, для меня ничего не составляет достать посредника.

Дворянин смирился, Арну вручил ему двадцать пять луидоров, а как только тот ушел, воскликнул:

– И несносные же они, эти знатные господа!

– Все они дрянь! – пробормотал Режембар.

По мере того как время шло, дела у Арну становилось все больше; он раскладывал статьи, распечатывал конверты, подводил итоги; на стук молотка, раздававшийся из магазина, выходил понаблюдать за упаковкой, потом снова садился за работу и, продолжая водить по бумаге стальным пером, отвечал на шутки. В тот вечер ему предстояло обедать у своего поверенного, а на другой день уехать в Бельгию.

Прочие беседовали о всяких злободневных вещах: о портрете Керубини, о полукруглом зале Академии художеств, о предстоящей выставке. Пеллерен ругал Институт. Сплетни переплетались со спорами. В этой комнате с низким потолком собралось столько народу, что негде было повернуться, а мерцание розовых свечей пробивалось сквозь сигарный дым, точно солнечные лучи сквозь туман.

Дверь около дивана отворилась, вошла высокая худая женщина с движениями столь резкими, что на черном шелковом платье звякали все брелоки ее часов.

Это была та самая особа, которую Фредерик прошлым летом мельком видел в Палеро-Рояле. Некоторые называли ее по имени и обменивались с ней рукопожатиями. Юссонэ вырвал наконец у Арну пятьдесят франков; часы пробили семь; все стали расходиться.

Арну предложил Пеллерену подождать, а сам увел м-ль Ватназ в туалетную комнатку.

Фредерик не слышал их слов: говорили они шепотом. Но вдруг женский голос зазвучал громче:

– Полгода, как дело сделано, а я все жду!

Наступило долгое молчание, м-ль Ватназ вновь появилась, Арну опять пообещал ей что-то.

– Ну-ну! Еще посмотрим!

– Прощайте, счастливый человек! – сказала она, уходя.

Арну быстро вернулся в туалетную комнату, почернил усы, поправил подтяжки, чтобы туже натянулись штрипки, и, моя руки, сказал:

– Мне бы надо было два панно над дверьми, по двести пятьдесят штука, в жанре Буше. Можно рассчитывать?

– Идет, – ответил, покраснев, художник.

– Хорошо! И не забывайте мою жену!

Фредерик проводил Пеллерена до конца предместья Пуассоньер и попросил позволения время от времени его навещать; согласие было любезно дано.

Пеллерен читал все труды по эстетике, чтобы открыть истинную теорию Прекрасного, так как был убежден, что, найдя ее, создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, слепками, моделями, гравюрами и, терзаясь, искал; он винил погоду, нервы,

свою мастерскую, выходил на улицу, думая там обрести вдохновение, вздрагивал, будто оно уже осенило его, потом бросал начатую картину и задумывал другую, которая должна была быть еще прекраснее. И вот, мучимый жаждой славы и теряя время в спорах, веря в тысячи нелепостей, в системы, в критику, в необходимость каких-то правил или какой-то реформы искусства, он дожил до пятидесяти лет, не создав ничего, кроме набросков. Непокоримая гордость не позволяла ему унывать, но он всегда был чем-нибудь раздражен и вечно находился в том искусственном и все же неподдельном возбуждении, которое отличает актеров.

Когда вы входили к нему, первым делом бросались в глаза две большие картины, на которых коричневые, красные и синие мазки выделялись пятнами на фоне белого холста. Все это было покрыто целой сетью линий, начерченных мелом и беспорядочно сплетавшихся вновь и вновь, – в сущности ничего нельзя было понять. Пеллерен объяснил содержание этих двух композиций, намечая большим пальцем еще недостающие части. Одна из картин должна была изображать «Безумие Навуходносора», другая – «Рим, сжигаемый Нероном». Фредерик пришел от них в восхищение.

Он был в восхищении и от этюдов женщин с распущенными волосами, и от пейзажей, на которых во множестве встречались искривленные бурей стволы, но главное – от набросков пером в манере Калло, Рембрандта или Гойи; в оригинале он их не знал. Пеллерен относился пренебрежительно к этим работам своей молодости; теперь он стоял за высокий стиль; он пустился в красноречивые рассуждения о Фидии и Винкельмане. Предметы, окружавшие его, еще усиливали впечатление от его слов: здесь можно было увидеть череп на аналое, несколько ятаганов, монашескую рясу; Фредерик однажды ее надел.

Когда он приходил рано, то заставлял Пеллерена в походной кровати, неудобной, покрытой рваным ковром: Пеллерен ложился поздно, так как усердно посещал театры. Прислуживала ему старуха в лохмотьях, обедал он в кухмистерской и жил без любовницы. Благодаря познаниям, приобретенным где попало, парадоксы его были забавны. Ненависть ко всему заурядному и мещанскому прорывалась у него наружу сарказмами, полными великолепно лиризма, а к мастерам он чувствовал такое благоговение, которое и его почти что возвышало до них.

Но почему он никогда не говорил о г-же Арну? Что до ее мужа, то порою он называл его славным малым, порою – шарлатаном. Фредерик ждал, когда он начнет откровенничать.

Однажды, перелистывая рисунки в одной из его папок, Фредерик в портрете какой-то цыганки нашел нечто общее с м-ль Ватназ, а так как эта особа его интересовала, он решил спросить, кто она такая.

Прежде она, насколько знал Пеллерен, была учительницей в провинции; теперь дает уроки и пытается писать в маленьких газетах.

Судя по ее обращению с Арну, можно было – так думалось Фредерику – счесть ее за его любовницу.

– Э, какое там! С него довольно и других!

Тогда молодой человек, отвернув лицо, покрывшееся краской стыда от гнусной догадки, которую он решил высказать, развязно спросил:

– Жена отвечает ему, верно, тем же?

– Ничуть не бывало! Она порядочная женщина!

Фредерик почувствовал угрызения совести и еще усерднее стал посещать редакцию.

Большие буквы, из которых на мраморной доске над магазином складывалась фамилия Арну, казались ему совершенно особенными и полными значения, словно священные письмены. По широкому покатоуму тротуару идти было легко, дверь отворялась почти сама собой, а ручка ее, гладкая на ощупь, казалось, наделена была мягкостью и чуткостью, словно живая рука, которую он сжимает в своей. Он незаметно стал приходить с такой же точностью, как Режембар.

Каждый день Режембар садился в свое кресло у камина, брал «Насьональ», уже не отрываясь от него и мысль свою выражал каким-нибудь восклицанием или же просто пожимал плечами. Время от времени он вытирал лоб скрученным в спираль носовым платком, который висел у него на груди между двумя пуговицами зеленого сюртука. Панталоны у него были со складками, он носил полусапожки и длинный галстук, а по шляпе с загнутыми полями его легко можно было узнать в толпе.

В восемь часов утра он спускался с высот Монмартра и заходил на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар выпить белого вина. Его завтрак, за которым следовало несколько партий на бильярде, длился часов до трех. Тогда он направлялся к пассажи Панорамы выпить абсента. После пребывания у Арну он заходил в «Бордоский кабачок» выпить вермута; затем, вместо того чтобы вернуться к жене домой, он часто предпочитал пообедать в одиночестве в маленьком кафе на площади Гайон, где заказывал «домашние блюда, что-нибудь попроще!». Напоследок он еще перебирался в какую-нибудь бильярдную и просиживал там до двенадцати, до часу ночи, до тех пор, пока не тушили газ и не запирали ставни и хозяин заведения, уже изнемогавший, не умолял его уйти.

Но не любовь к выпивке привлекала в подобные места гражданина Режембара, а давняя привычка к политическим разговорам; однако с годами пыл его угас, он хранил угрюмое молчание. По серьезности его лица можно было подумать, что он весь поглощен мировыми вопросами. Его мысль никак не проявлялась, и никто, даже его друзья, не знали, занимается ли он чем-нибудь, хоть он и говорил, будто у него деловая контора.

Арну, казалось, питал к нему беспредельное уважение. Однажды он сказал Фредерику: – Он-то все знает, уж будьте покойны! Светлая голова!

Как-то в другой раз Режембар разложил на конторке бумаги, касавшиеся залежей фарфоровой глины в Бретани; Арну не сомневался в его опытности.

Фредерик стал еще более учтив с Режембаром – настолько, что время от времени угощал его абсентом, и хотя считал его глупым, нередко целые часы проводил в его компании – потому только, что тот был другом Жака Арну.

Торговец картинами, которому привелось помочь кое-кому из современных художников при первых их шагах, как человек передовой, старался увеличить свои доходы и сохранял в то же время артистические замашки. Он стремился к раскрепощению искусства, к прекрасному по дешевой цене. Все виды парижской промышленности, вырабатывающей предметы роскоши, испытали на себе его влияние, благотворное для мелочей и пагубное для всего значительного. Подлаживаясь изо всех сил под вкус большинства, он сбивал с пути искусных художников, развращал одаренных, выжимал последние соки из слабых и прославлял посредственных; он держал их в руках благодаря своим связям и своей газете. Всякие бездарности жаждали видеть свои картины в витрине Арну, обойщики брали у него рисунки мебели. Фредерик видел в нем и миллионера, и любителя искусств, и дельца. Все же многое удивляло его – слишком уж господин Арну был ловок в торговых делах.

Так, из Германии или Италии ему присылали картину, купленную в Париже за полторы тысячи франков, и он, предъявляя на нее накладную в четыре тысячи, перепродавал из любезности за три с половиной. Одна из обычных его проделок состояла в том, что он требовал от художников в придачу к купленной картине небольшую копию под тем предлогом, будто собирается сделать с нее гравюру; копию он всегда продавал, а гравюра никогда не появлялась. Того, кто жаловался, что это эксплуатация, он только похлопывал по животу. Он был, впрочем, превосходный малый, не жалел сигар, говорил «ты» незнакомым людям, и если начинал торговаться каким-нибудь произведением или человеком, то уже, невзирая ни на что, настаивал на своем, не скупился на хлопоты, на статьи, на рекламу. Он считал себя вполне честным и, чувствуя потребность излить душу, простосердечно рассказывал о разных своих неблагоприятных делах.

Как-то раз, чтобы досадить собрату, который основал газету, тоже посвященную живописи, и давал в честь этого события большой званый обед, Арну попросил Фредерика написать в его присутствии, незадолго до назначенного часа, письма приглашенным, что обед отменяется.

– Это ведь не затрагивает чести, понимаете?

И молодой человек не решился отказать ему в услуге.

На другой день после этого, зайдя вместе с Юссонэ в контору Арну, Фредерик увидел, как в двери (той, что выходила на лестницу) мелькнул подол женского платья.

– Тысячу извинений! – сказал Юссонэ. – Если бы я знал, что здесь женщины...

– О, да это моя жена, – ответил Арну. – Она проходила мимо и решила меня навестить.

– Как так? – спросил Фредерик.

– Ну да. И пойдет сейчас домой!

Прелесть окружающего исчезла тотчас же. То, что было разлито здесь, как ему чудилось, теперь исчезло, или, пожалуй, всего этого никогда и не было. Он испытывал бесконечное удивление и словно боль измены.

Арну, роясь у себя в ящике, чему-то улыбался. Не над ним ли он смеется? Приказчик положил на стол кипу сырых бумаг.

– А! Вот и афиши! – воскликнул торговец. – Мне сегодня не скоро удастся пообедать!

Режембар взялся за шляпу.

– Как, вы уже покидаете меня?

– Семь часов! – сказал Режембар.

Фредерик последовал за ним.

На углу улицы Монмартр он обернулся, взглянул на окна второго этажа и мысленно усмехнулся, чувствуя жалость к себе, вспоминая, с какой любовью он так часто на них смотрел. Где же она живет? Как встретиться с ней теперь? Одиночество вновь зияло вокруг него, вокруг его желаний – еще необъятнее, чем когда бы то ни было!

– Пойдем, усладимся! – предложил Режембар.

– Кем это?

– Полынной.

И, уступая настойчивым просьбам, Фредерик позволил затащить себя в «Бордоский кабачок». Пока его собутыльник, облокотившись на стол, разглядывал графин, Фредерик смотрел во все стороны. Но вот на тротуаре показалась фигура Пеллерена; Фредерик торопливо застучал в окно, и не успел еще художник усесться, как Режембар спросил, почему его больше не видно в «Художественной промышленности».

– Лопнуть мне, если я туда пойду. Он скотина, мещанин, мерзавец, плут!

Эта брань была приятна раздосадованному Фредерику. Все же он был ею и задет, так как ему казалось, что это слегка затрагивает и г-жу Арну.

– Что же он вам такое сделал? – спросил Режембар.

Вместо ответа Пеллерен топнул ногой и громко засопел.

Он втайне занимался кой-какими делами, например изготовлением портретов цветным карандашом или подделкой произведений великих мастеров в расчете на непросвещенного любителя, а так как эти работы его унижали, то обычно он предпочитал о них молчать. Но «гнузность Арну» слишком обозлила его. Он излил душу.

По заказу Арну, сделанному в присутствии Фредерика, он принес ему две картины. И торговец позволил себе критиковать их! Он порицал композицию, колорит и рисунок, главное – рисунок, словом, ни за что не хотел их взять. И Пеллерен, вынужденный к тому же истечением срока векселя, уступил их еврею Исааку, а через две недели тот же Арну продал их за две тысячи франков какому-то испанцу.

– Ни на одно су не дешевле. Какая подлость! И ведь это не единственная, ей-богу! Не сегодня завтра мы еще увидим его на скамье подсудимых.

– Это уж вы преувеличиваете! – робко сказал Фредерик.

– Ну вот еще! Преувеличиваю! – воскликнул художник, ударив кулаком по столу.

Грубая выходка Пеллерена вернула молодому человеку самоуверенность. Конечно, можно было бы вести себя более прилично; однако если, по мнению Арну, эти полотна...

– Плохи? Договаривайте! Да вы их видели? Понимаете вы в этом деле? А ведь я, знаете, мой миленький, дилетантов не признаю!

– Э! Да меня это и не касается! – сказал Фредерик.

– С какой же стати вы защищаете его? – холодно спросил Пеллерен.

Молодой человек пробормотал:

– Да... потому что я ему друг.

– Так поцелуйте его от меня! Добрый вечер!

И художник ушел, совершенно взбешенный, ни словом, разумеется, не обмолвившись о счете.

Фредерик, защищая Арну, сам убедил себя в его правоте. В пылу своего красноречия он ощутил нежность к этому человеку, умному и доброму, на которого его друзья клеветают и который теперь работает один, всеми покинутый. Он не стал противиться странному желанию тотчас же увидеть его. Десять минут спустя он уже отворял дверь в магазин.

Арну с приказчиком составлял невероятных размеров афиши для выставки картин.

– Ба! Какими судьбами вы снова к нам?

Этот простой вопрос привел Фредерика в замешательство, и, не зная, что ответить, он спросил, не нашлась ли случайно его записная книжка, маленькая записная книжка в синем кожаном переплете.

– Та, где вы храните письма от женщин? – сказал Арну.

Фредерик покраснел, как девушка, и стал защищаться, чтобы опровергнуть подобное предположение.

– Так, значит, ваши стихи? – не унимался торговец.

Он перебирал образцы, разложенные перед ним, рассуждал о их форме, цвете, о бордюре; а Фредерика все сильнее и сильнее раздражал его озабоченный вид, главное же – его руки, двигавшиеся по афишам, большие руки, несколько пухлые, с плоскими ногтями. Наконец Арну поднялся, сказал: «Вот и готово!» – и фамильярно взял его за подбородок. Эта вольность не понравилась Фредерику, он попятился; потом он переступил порог конторы, последний раз в жизни – так он думал. Даже и на г-жу Арну как будто распространялась вульгарность ее мужа.

На той же неделе он получил письмо, которым Делорье сообщал, что прибудет в Париж в следующий четверг. И Фредерик с новой страстью вернулся к этой привязанности, более прочной и более возвышенной. Такой человек стоит всех женщин. Ему больше не нужны будут ни Режембар, ни Пеллерен, ни Юссонэ – никто! Чтобы лучше устроить своего друга, он купил железную кровать, второе кресло, распределил на две части свое постельное белье; в четверг утром он уже одевался, чтобы ехать встречать Делорье, как вдруг у дверей раздался звонок. Вошел Арну.

– Всего два слова. Мне вчера прислали из Женевы чудесную форель; мы рассчитываем на вас, сегодня ровно в семь... Улица Шуазель, дом двадцать четыре. Не забудьте же!

Фредерик принужден был сесть. Колени у него дрожали. Он повторял: «Наконец! Наконец!» Потом он написал своему портному, шапочнику, башмачнику и отправил эти три записки с тремя рассыльными. В замке повернулся ключ, и появился привратник с сундуком на плечах.

Увидев Делорье, Фредерик задрожал, как застигнутая врасплох изменница-жена.

– Какая муха тебя укусила? – спросил Делорье. – Ведь ты, вероятно, получил мое письмо?

Фредерик не в силах был солгать.

Он раскрыл объятия и бросился к нему на грудь.

Потом клерк поведал свою историю. Отец отказался дать отчет по опеке, вообразив, что необходимость в этом отпадает в силу десятилетней давности. Но Делорье, весьма сведущий в судопроизводстве, в конце концов выцарапал все материнское наследство, чистых семь тысяч франков, которые были тут, при нем, в старом бумажнике.

– Это на черный день, про запас. Завтра же с утра надо будет подумать, куда их поместить, да и мне самому пристроиться. А сегодня – отдых от всех забот, и я весь к твоим услугам, старина!

– О, ты не стесняйся! – сказал Фредерик. – Если на сегодняшний вечер у тебя что-нибудь важное...

– Ну вот еще! Я был бы изрядный мерзавец...

Этот случайно оброненный эпитет, как оскорбительный намек, кольнул Фредерика в самое сердце.

Привратник расставил на столе перед камином котлеты, заливное, лангусты, десерт и две бутылки бордо. Делорье был тронут таким приемом.

– Ты по-царски угощаешь меня, честное слово!

Они говорили о прошлом, о будущем и время от времени протягивали руки через стол, с нежностью глядя друг на друга. Но вот посыльный принес новую шляпу. Делорье громко заметил, какая блестящая у нее тулья.

Потом портной самолично доставил фрак, отутюженный им.

– Можно подумать, что сегодня твоя свадьба, – сказал Делорье.

Час спустя явилась третья личность и из большого черного мешка извлекла пару великолепных лакированных ботинок. Пока Фредерик их примерял, башмачник насмешливо рассматривал обувь провинциала.

– Вам, сударь, ничего не требуется?

– Нет, благодарю, – ответил клерк, пряча под стул ноги в старых башмаках со шнуровкой.

То, что Делорье подвергся такому унижению, смутило Фредерика. Он все медлил с признанием. Наконец, словно что-то вспомнив, воскликнул:

– Ах, черт возьми, я и забыл!

– Что такое?

– Сегодня я обедаю в гостях!

– У Дамбрёзов? Почему ты ни разу не писал мне о них? Нет, он обедает не у Дамбрёзов – у Арну.

– Ты бы меня предупредил! – сказал Делорье. – Я приехал бы днем позже.

– Это было невозможно! – резко ответил Фредерик. – Я только сегодня утром получил приглашение.

И чтобы загладить свою вину и отвлечь внимание друга, он стал развязывать веревки, опутывавшие сундук, разложил в комод все его вещи, хотел уступить ему свою постель, говорил, что ляжет сам в дровяном чулане. Потом, уже с четырех часов, он принялся за свой туалет.

– Времени у тебя еще достаточно! – сказал Делорье.

Наконец Фредерик оделся и ушел.

«Вот они, богачи!» – подумал Делорье. И отправился обедать на улицу Сен-Жак в знакомый ему ресторанчик.

Фредерик несколько раз останавливался на лестнице – так билось у него сердце. Одна из перчаток, слишком узкая, лопнула, а пока он засовывал разорванное место под манжету, Арну, следом за ним подымавшийся по лестнице, схватил его за руку и ввел в свою квартиру.

Передняя была в китайском вкусе – с расписным фонарем на потолке, с бамбуками по углам. Проходя через гостиную, Фредерик споткнулся о тигровую шкуру. Свечей еще не зажигали, лишь в глубине будуара горели две лампы.

Мадемуазель Марта явилась и сообщила, что мама одевается. Арну поднял ее и поцеловал; потом, желая сам выбрать в погребке несколько бутылок вина, он оставил Фредерика с девочкой.

Она очень выросла со времени поездки в Монтеро. Ее темные волосы длинными локонами спускались на голые руки. Из-под короткого платица, более пышного, чем у балерины, видны были розовые икры, и вся ее милая фигурка дышала свежестью, точно букет цветов. Compliments гостя она выслушала с видом кокетки, остановила на нем глубокий пристальный взгляд, потом, проскользнув среди мебели, исчезла, словно кошка.

Он больше не испытывал волнения. Шары ламп, покрытые кружевной бумагой, бросали на стены, обтянутые лиловатым атласом, мягкий молочный свет. Сквозь каминную решетку, похожую на большой веер, видны были горящие уголья; рядом с часами стоял ларец с серебряными застежками. Тут и там разбросаны были всякие домашние вещицы: на диванчике – кукла, на спинке стула – косынка, а на рабочем столике – вязанье, в котором остриями вниз торчали две спицы слоновой кости. В этой комнате все говорило о жизни мирной, добропорядочной и семейственной.

Арну вернулся; из-за другой портьеры показалась г-жа Арну. На нее падала тень, и сперва он различил только ее лицо. Платье на ней было черное бархатное, а волосы покрывала длинная алжирская сетка красного шелка, которая, обвившись вокруг гребня, спускалась на левое плечо.

Арну представил Фредерика.

– О! Я прекрасно помню вас, – ответила она.

Потом, почти в одно и то же время, прибыли остальные гости: Дитмер, Ловариас, Бюрё, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Лоррис, два художественных критика, товарищи Юссонэ, владелец писчебумажной фабрики и, наконец, знаменитый Пьер-Поль Мейнсиус, последний представитель высокой живописи, который с бодростью нес не только бремя славы, но и свои восемьдесят лет и огромный живот.

Когда гости направились в столовую, г-жа Арну взяла его под руку. Одно место оставалось свободным – для Пеллерена. Арну его любил, хотя и эксплуатировал. К тому же он опасался его беспощадно злого языка – настолько, что, желая его смягчить, поместил в «Художественной промышленности» портрет живописца, за которым следовали гиперболические похвалы; и Пеллерен, более падкий на славу, чем на деньги, появился часам к восьми, совершенно запыхавшись. Фредерик вообразил, что они уже давно помирились.

Общество, кушанья – все нравилось ему. Комната была обтянута тисненой кожей, наподобие залы в средневековом вкусе; против голландской этажерки находился поставец для чубуков, а стаканы богемского хрусталя разной окраски, расставленные на столе среди цветов и фруктов, создавали впечатление иллюминации в саду.

Ему пришлось выбирать между десятью сортами горчицы. Он ел даспакью, кари, имбирь, корсиканских дроздов, римскую лапшу; он пил необыкновенные вина, либффрауенмильх и токайское. Умение угостить действительно было для Арну делом чести. И он ублажал кондукторов почтовых карет, которые поставляли ему разную снедь, и водил знакомство с поварами богатых домов, сообщавшими ему рецепты приправ.

Но больше всего занимали Фредерика разговоры. Так как его увлекала мысль о путешествиях, то он наслаждался рассказами Дитмера о Востоке; его интерес ко всему театральному утолял Розенвальд, говоривший об опере, а суровая жизнь богемы показалась ему забавной сквозь призму той веселости, с которой Юссонэ в красочных тонах описал, как он провел целую зиму, питаясь одним только голландским сыром. Потом спор о флорентийской школе,

возникший между Ловариасом и Бюрьё, открыл ему новые сокровища, расширил его горизонты, и он уже едва сдерживал свой восторг, когда Пеллерен воскликнул:

– Оставьте меня в покое с вашей отвратительной реальностью! Что значит – реальность? Одни видят черное, другие – голубое, большинство видит одни глупости. Нет ничего менее естественного, чем Микеланджело, и ничего более замечательного! Забота о внешнем правдоподобии обличает современную низость, и если так будет продолжаться, искусство превратится бог весть в какую ерунду, оно станет менее поэтичным, чем религия, и менее занимательным, чем политика. Его цель, – да, цель, заключается в том, чтобы возбуждать в нас восторг не личного свойства, и ее вы не достигнете какими-либо пустяками, как бы вы ни ухищрялись, как бы ни отделяли их. Вот, например, картины Бассолье: мило, нарядно, чисто и не тяжеломерно! Можно положить в карман, взять с собой в дорогу. Нотариусы платят за такие вещи по двадцать тысяч франков, а идеи тут на три су; но без идеи не может быть ничего великого! Без величия не может быть ничего прекрасного! Олимп – это гора! Самым потрясающим памятником неизменно останутся пирамиды! Лучше излишество, чем умеренность, пустыня, чем тротуар, дикарь, чем парикмахер!

Слушая эти слова, Фредерик глядел на г-жу Арну. Они проникали в его сознание, как куски металла падают в горнило, они сливались с его страстью и претворялись в любовь.

Он сидел через три места от нее, на той же стороне стола. Время от времени она слегка наклонялась и поворачивала голову, чтобы сказать несколько слов дочке; она улыбалась, и на щеке у нее появлялась ямочка, что придавало ее лицу выражение еще большей мягкости и доброты.

Когда были поданы ликеры, она скрылась. Разговор стал очень вольным; г-н Арну в нем блистал, и Фредерик был удивлен цинизмом всех этих мужчин. Но как бы то ни было, интерес к женщинам словно устанавливал между ним и ими равенство, поднимавшее Фредерика в собственном мнении.

Вернувшись в гостиную, он приличия ради взял один из альбомов, лежавших на столе. Самые крупные современные художники украсили его своими рисунками, заполнили его страницы прозой, стихами или просто-напросто оставили автограф; рядом со знаменитыми именами встречалось много неизвестных, а любопытные мысли лишь мелькали среди потока глупостей. Все они содержали более или менее прямые похвалы г-же Арну. Фредерику страшно было бы написать здесь хоть одну строчку.

Она пошла в будуар принести ларец с серебряными застёжками, который он успел заметить на камине. Это был подарок от мужа, работа времен Возрождения. Друзья Арну хвалили его покупку, жена благодарила; он почувствовал прилив нежности и при всех поцеловал ее.

Разговор продолжался, гости расположились группами, старик Мейнсиус сидел с г-жой Арну на диванчике у камина; она наклонялась к его уху, их головы соприкасались, и Фредерик согласился бы стать глухим, немощным и безобразным ради громкого имени и седых волос, словом, лишь бы обладать чем-то таким, что дало бы ему право на подобную близость. Он терзался в душе, негодуя на свою молодость.

Но она пришла в тот угол гостиной, где находился он, спросила, знаком ли он с кем-нибудь из гостей, любит ли живопись, давно ли учится в Париже. Каждое слово, произнесенное ею, казалось ему чем-то новым, возможным только в ее устах. Он внимательно разглядывал бахрому ее головного убора, касавшуюся одним краем обнаженного плеча, и не отрывал от него взгляда, мысленно погружаясь в белизну этого женского тела; однако он не смел поднять глаза, посмотреть ей прямо в лицо.

Розенвальд прервал их беседу, попросив г-жу Арну что-нибудь спеть. Он взял несколько аккордов, она ждала; губы ее приоткрылись, и понеслись чистые протяжные ровные звуки.

Слов итальянской песни Фредерик не понял.

Она начиналась в торжественном ритме, напоминая церковное песнопение, потом музыка оживлялась, звук нарастал, шли звонкие раскаты, и вдруг все замирало; тогда широко и медленно возвращалась нежная начальная мелодия.

Госпожа Арну стояла у рояля, опустив руки, глядя куда-то в пространство. Порою, чтобы прочесть ноты, она щурила глаза и на миг вытягивала шею. Ее контральто на низких нотах принимало зловещий оттенок, от него веяло холодом, и ее прекрасное лицо с длинными бровями склонялось к плечу; грудь ее вздымалась, она разводила руками, томно откидывала голову, словно кто-то бесплотный целовал ее, а рулады продолжали нестись; она взяла три высоких ноты, спустилась вниз, затем снова взяла еще более высокую ноту и, после паузы, кончила фермой.

Розенвальд остался у рояля. Он продолжал играть для себя. Время от времени кто-нибудь из гостей исчезал. В одиннадцать часов, когда уходили последние, Арну вышел вместе с Пеллереном под предлогом, что проводит его. Он был из числа тех, которые чувствуют себя больными, если не «пройдутся» после обеда.

Госпожа Арну вышла в переднюю; Дитмер и Юссонэ поклонились ей, она протянула им руку; она протянула ее и Фредерику, и он всем существом ощутил это прикосновение.

Он простился с приятелями; ему надо было остаться одному. Сердце его было переполнено. Почему она протянула ему руку? Был ли то необдуманно жест или знак поощрения? «Да полно, я с ума сошел!» Впрочем, не все ли равно, раз он может теперь посещать ее когда угодно, дышать тем же воздухом, что она?

На улицах было безлюдно. Изредка проезжала тяжелая повозка, сотрясая мостовую. Дома следовали один за другим – серые фасады, закрытые окна; и он с пренебрежением думал о всех этих людях, которые спят за этими стенами, живут, не видя ее и даже не подозревая, что она существует на свете. Он утратил представление о пространстве, о месте, где находился, ничего не помнил и, стуча каблуками, ударяя тростью по ставням лавок, шел все прямо вперед, наугад, растерянный, послушный какому-то влечению. Его обдало сыростью. Он понял, что стоит на одной из набережных.

Двумя прямыми бесконечными линиями блестели фонари, и длинные красные языки дрожали в воде, уходя в глубину. Вода была цвета аспидной доски, а небо, менее темное, как будто опиралось на сумрачные громады, возвышавшиеся по обеим сторонам Сены. Здания, которых не было видно, еще усиливали мрак. Над крышами плыл светящийся туман; все шумы сливались в одно гудение; дул легкий ветерок.

Дойдя до середины Нового моста, Фредерик остановился; сняв шляпу, открыв грудь, он вдыхал воздух. И он чувствовал, как из глубины его существа подымается нечто неиссякаемое, прилив нежности, расслаблявший его, как движение воды перед глазами. На церковной башне медленно пробило час, словно чей-то голос позвал его.

В этот миг им овладел тот трепет души, когда кажется, что вы переноситесь в высший мир. Необыкновенный талант – к чему, он сам еще не знал – внезапно пробудился в нем. Он серьезно спрашивал себя, быть ли ему великим живописцем или великим поэтом, и выбрал живопись, ибо это занятие может приблизить его к г-же Арну. Так, значит, он нашел свое призвание! Цель его жизни теперь ясна, а будущее непреложно.

Войдя к себе, он запер дверь и услышал, как кто-то храпит в темном чулане рядом с его комнатой. То был его товарищ. Он о нем и забыл.

В зеркале он увидел свое лицо. Он нашел, что хорош собой, и остановился на минуту поглядеть на себя.

V

Утром на следующий день он купил ящик с красками, кисти, мольберт. Пеллерен согласился давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе на квартиру посмотреть, не упустил ли он чего-нибудь, необходимого для занятий живописью.

Делорье уже вернулся. А в кресле напротив сидел какой-то молодой человек. Клерк показал на него:

– Вот он! Это Сенекаль.

Фредерику он не понравился. Лоб его казался выше благодаря тому, что волосы были подстрижены бобриком. Что-то жесткое и холодное сквозило в его серых глазах, а от длинного черного сюртука, от всей одежды так и несло педагогикой, церковными поучениями.

Сперва разговор шел о новостях дня, между прочим о «Stabat Mater»³ Россини; когда спросили мнение Сенекаля, он заявил, что никогда не бывает в театре. Пеллерен открыл ящик с красками.

– Это все для тебя? – спросил клерк.

– Да, конечно!

– Ну? Вот затея!

И он наклонился к столу, за которым математик-репетитор перелистывал том Луи Блана. Он принес его с собою и теперь вполголоса читал оттуда отдельные места, меж тем как Пеллерен и Фредерик вместе рассматривали палитру, шпатель, тюбики с красками; потом они заговорили об обеде у Арну.

– У торговца картинами? – спросил Сенекаль. – Хорош гусь, нечего сказать!

– А что? – отозвался Пеллерен.

Сенекаль ответил:

– Человек, который выколачивает монету политическими гнусностями!

И он заговорил о знаменитой литографии, на которой изображено все королевское семейство, занятое вещами назидательными: в руках у Луи-Филиппа свод законов, у королевы молитвенник, принцессы вышивают, герцог Немурский пристегивает саблю; г-н де Жуанвиль показывает младшим братьям географическую карту; в глубине видна двуспальная кровать. Эта картинка, носившая название «Доброе семейство», радовала буржуа, но огорчала патриотов. Пеллерен раздраженным тоном, словно он был автор, ответил, что одно мнение стоит другого. Сенекаль возразил. Искусство должно иметь единственной целью нравственное совершенствование масс! Следует брать лишь такие сюжеты, которые побуждают к добродетельным поступкам, все остальные вредны.

– Все зависит от выполнения! – кричал Пеллерен. – Я могу создать шедевр!

– Если так, тем хуже для вас! Никто не имеет права...

– Что?

– Да, сударь, никто не имеет права возбуждать во мне интерес к тому, что я осуждаю! К чему нам старательно сработанные безделки, из которых нельзя извлечь никакой пользы, скажем, все эти Венеры, все ваши пейзажи? Я тут не вижу ничего поучительного для народа. Лучше покажите нам его горести, заставьте нас преклоняться перед жертвами, которые он приносит! Ах, боже мой, в сюжетах недостатка нет: ферма, мастерская...

Пеллерен заикался от возмущения; ему показалось, что он нашел довод:

– Мольера вы признаете?

– Да! – сказал Сенекаль. – Я восхищаюсь им как предтечей французской революции.

– Ах! Революция! Да где там искусство? Не было эпохи более жалкой!

³ Духовная кантата, названная по первым словам католического гимна.

– Более великой, сударь!

Пеллерен скрестил руки и взглянул на него в упор.

– Из вас, по-моему, вышел бы отличный солдат национальной гвардии!

Противник, привыкший к спорам, отвечал:

– Я в ней не состою и ненавижу ее так же, как вы! Но подобными принципами только развращают массы! Это, впрочем, и входит в расчеты правительства; оно не было бы так сильно, если бы его не поддерживала целая свора таких же шутов, как Арну.

Художник встал на защиту торговца, ибо мнения Сенекалья выводили его из себя. Он даже решился утверждать, что у Жака Арну поистине золотое сердце, что он предан своим друзьям, нежно любит жену.

– О! О! Если бы ему предложить хорошую сумму, он не отказался бы сделать из нее натурщицу.

Фредерик побледнел.

– Наверно, он вас очень обидел, сударь?

– Меня? Нет! Я видел его один лишь раз, в кафе, с приятелем. Вот и все.

Сенекаль говорил правду. Но рекламы «Художественной промышленности» раздражали его изо дня в день. Арну был в его глазах представителем среды, которую он считал губительной для демократии. Суровый республиканец, он во всяком проявлении изящества подозревал испорченность, сам же был лишен всяких потребностей и отличался непоколебимой честностью.

Разговор уже не клеился. Художник вскоре вспомнил о назначенной встрече, репетитор – о своих учениках; когда они ушли, Делорье, после долгого молчания, стал задавать разные вопросы об Арну.

– Со временем представишь меня, старина, не правда ли?

– Конечно, – сказал Фредерик.

Потом они стали думать, как им устроиться. Делорье без труда получил место второго клерка у адвоката, записался на юридический факультет, купил необходимые книги, и жизнь, о которой они так мечтали, началась.

Она была прекрасна благодаря очарованию молодости. Делорье о деньгах не заговаривал, и Фредерик о них тоже не говорил. Он производил все расходы, убирал в шкафу, занимался хозяйством; но если надо было отчитать привратника, за это брался клерк, продолжая и теперь, как в коллеже, играть роль покровителя и старшего.

В течение дня они не виделись и встречались только вечером. Каждый садился на свое место у камина и принимался за работу. Но вскоре они ее бросали. И не было конца излишним, приступам беспричинной веселости, а порою случались и ссоры – из-за накопившей лампы или затерянной книги, минутные вспышки гнева, разрешавшиеся смехом.

Дверь в дровяной чулан оставалась открыта, так что, и лежа в постелях, они еще могли болтать.

Утром они без сюртуков расхаживали по балкону; вставало солнце, над рекой зыбился легкий туман, с цветочного рынка, расположенного поблизости, долетали визгливые крики, а дымок от их трубок клубился в чистом воздухе, освежавшем их заспанные глаза; вдыхая его, они чувствовали веяние необъятных надежд, разлитых повсюду.

По воскресеньям, если не было дождя, они вместе выходили и, взявшись под руку, шли по улицам. Очень часто у них возникала одна и та же мысль, иногда, разговаривая, они ничего не видели вокруг себя. Делорье стремился к богатству как к средству властвовать над людьми. Ему хотелось бы приводить в движение как можно больше народа, делать побольше шума, иметь в своем распоряжении трех секретарей и раз в неделю давать большой политический обед. Фредерик обставлял себе дворец в мавританском вкусе, где он мог бы всю жизнь лежать на диванах, обитых турецкой тканью, под журчанье водометов и где ему прислуживали бы

негры-пажи; и все эти предметы мечтаний приобретали в конце концов такую осязательность, что он приходил потом в отчаяние, как будто утратил их.

– К чему и говорить обо всем этом, – замечал он, – раз у нас никогда этого не будет?

– Как знать! – отвечал Делорье.

Несмотря на свои демократические взгляды, он советовал Фредерику завязать знакомство с Дамбрёзами. Тот ссылаясь на свои неудачные попытки.

– Да полно. Зайди еще! Тебя пригласят.

В середине марта они, в числе других довольно крупных счетов, получили счет из кухмистерской, где брали обеды. Фредерик, не имея всей требуемой суммы, занял сто экю у Делорье; две недели спустя он обратился к нему с подобной же просьбой, и клерк пробрал его за то, что он тратит так много у Арну.

Тут он действительно не знал меры. Вид Венеции, вид Неаполя, вид Константинополя занимали в комнате три стены, тут и там висели этюды коней Альфреда де Дрё, на камине стояла скульптура Прадье, на рояле валялись номера «Художественной промышленности», на полу в углах – папки, и от всего этого становилось так тесно, что некуда было положить книгу, трудно двинуть локтем. Фредерик уверял, что все это ему нужно для занятий живописью.

Он работал у Пеллерена. Но Пеллерена часто не бывало дома, ибо он имел обыкновение присутствовать на всех похоронах и при всех событиях, о которых газетам полагалось давать отчет, и Фредерик целые часы проводил в мастерской совершенно один. Тишина большой комнаты, где слышно было только, как возятся мыши, свет, падавший с потолка, даже гудение в печи – все составляло тот своеобразный духовный уют, которым он здесь был окружен. Потом его глаза, оторвавшись от работы, начинали блуждать по облупившейся стене, по безделушкам на этажерке, торсам, покрытым густою пылью, как лоскутьями бархата, и, точно путник, который сбился в лесу с пути и которого все тропинки приводят все к одному и тому же месту, Фредерик в глубине каждой своей мысли находил воспоминание о г-же Арну.

Он назначал себе день, когда пойдет к ней; поднявшись на третий этаж и уже стоя у ее дверей, он не сразу решался позвонить. Вот приближались шаги; дверь отворялась, и, когда он слышал слова: «Барыни нет дома», ему как будто возвращали свободу, с сердца сваливалась тяжесть.

Все же иногда он заставлял ее. В первый раз у нее были три дамы; в другой раз – тоже под вечер – пришел учитель чистописания м-ль Марты. Мужчины, которых принимала у себя г-жа Арну, с визитами не являлись. Фредерик, из скромности, больше не заходил.

Но чтобы получить приглашение на обед в четверг, он каждую среду неизменно появлялся в «Художественной промышленности» и оставался там дольше всех, дольше даже, чем Режембар, до последней минуты, делая вид, что рассматривает гравюру, пробегает газету. Наконец Арну спрашивал: «Вы завтра вечером свободны?» Приглашение он принимал прежде, чем фраза доводилась до конца. Арну как будто начинал испытывать к нему привязанность. Он учил его разбираться в винах, варить жженку, готовить рагу из бекасов; Фредерик покорно следовал его советам, – он любил все, что было связано с г-жой Арну: ее мебель, ее прислугу, ее дом, ее улицу.

Он безмолвствовал во время этих обедов; он созерцал ее. На правом виске у нее была маленькая родинка, пряди волос, гладко зачесанные на уши, были более темны, чем вся остальная прическа, и всегда как будто немного влажны по краям; она время от времени приглаживала их двумя пальцами. Он изучил форму каждого ее ногтя, наслаждался шелестом ее шелкового платья, когда она проходила в дверь, украдкой вдыхал аромат ее носового платка; ее гребень, ее перчатки, ее кольца были для него вещами особенными, значительными, как произведения искусства, почти живыми, как человеческие существа; все они волновали его сердце и усиливали страсть.

У него не хватало выдержки скрыть ее от Делорье. Когда он возвращался от г-жи Арну, то будил его как бы нечаянно, лишь бы поговорить о ней.

Делорье, спавший в деревянном чулане около умывальника, долго зевал. Фредерик садился на постель у него в ногах. Сперва он говорил об обеде, потом рассказывал о множестве незначительных мелочей, в которых видел знаки пренебрежения или расположения к нему. Однажды, например, она не пошла с ним под руку, предпочла идти с Дитмером, и Фредерик был в отчаянии.

– Вот вздор-то!

А как-то раз она его назвала своим «другом».

– Если так, будь смелее!

– Да я не решаюсь, – говорил Фредерик.

– Ну, тогда и не думай о ней! Спокойной ночи!

Делорье поворачивался к стене и засыпал. Он не понимал этой любви, в которой видел последнюю юношескую слабость своего приятеля; а так как их близость уже, очевидно, его не удовлетворяла, ему пришла в голову мысль собирать раз в неделю общих друзей.

Друзья приходили по субботам часов около девяти.

Все три тиковые занавески бывали аккуратно задернуты; лампа и четыре свечи зажжены; посреди стола ставился картуз с табаком и трубками, а вокруг него – бутылки пива, чайник, графин с ромом и печенье. Спорили о бессмертии души, сравнивали достоинства своих профессоров.

Однажды Юссонэ привел на вечер высокого молодого человека, одетого в сюртук с чересчур короткими рукавами и, видимо, стеснявшегося. Это был тот самый парень, которого они в прошлом году пытались выволочь из полиции.

Так как он не мог вернуть картонку с кружевами, потерянную во время свалки, хозяин обвинил его в воровстве и грозил судом; теперь он служил приказчиком в транспортной конторе. Юссонэ встретился с ним утром на улице и привел его, так как Дюссардьё из благодарности захотел повидать и «другого».

Он протянул Фредерику портсигар, еще совершенно полный, ибо с благоговением берег его, надеясь вернуть. Молодые люди пригласили его заходить. Он стал у них бывать.

Все чувствовали друг к другу приязнь. Их ненависть к правительству была возведена в степень неоспоримого догмата. Один только Мартинон пробовал защищать Луи-Филиппа. Против него пускали в ход все избитые доводы, примелькавшиеся в газетах: устройство укреплений вокруг Парижа, сентябрьские законы, Притчарда, лорда Гизо, – так что Мартинон умолкал, опасаясь кого-нибудь задеть. В коллеже он за семь лет ни разу не подвергся наказанию, а теперь на юридическом факультете умел нравиться профессорам. Обыкновенно он ходил в широком коричневом сюртуке, носил резиновые калоши, но в один из вечеров явился одетый прямо женихом: на нем был бархатный жилет, белый галстук, золотая цепочка.

Удивление возросло, когда стало известно, что он от г-на Дамбрёза. Банкир действительно купил на днях у отца Мартинона крупную партию леса; старик представил ему сына, и Дамбрёз пригласил обоих к обеду.

– Вдоволь ли было трюфелей? – спросил Делорье. – Удалось ли тебе обнять его супругу где-нибудь в дверях *sicut decet*?⁴

Тут разговор коснулся женщин. Пеллерен не допускал, что могут быть красивые женщины (он предпочитал тигриц); вообще самка человека – существо низшее в эстетической иерархии.

– То, что пленяет вас в ней, как раз и снижает ее как идею; я имею в виду волосы, грудь...

– Однако, – возразил Фредерик, – длинные черные волосы, большие черные глаза...

⁴ Как приличествует (лат.).

– О! Знаем! – воскликнул Юссонэ. – Довольно андалузок среди зелени лугов! Античность? Слуга покорный! Ибо в конце концов – надо же сказать правду – какая-нибудь лоретка много занятнее Венеры Милосской! Будем же галлами, черт возьми! Будем жить, коли сумеем, как в дни Регентства!

Струись, вино; вы, девы, улыбайтесь!

От брюнетки поспешим к блондинке! Согласны, дядюшка Дюссардье?

Дюссардье не отвечал. Все пристали к нему, чтобы узнать его вкусы.

– Ну так вот, – сказал он, краснея, – я хотел бы любить всегда одну и ту же!

Это было сказано так, что на миг наступило молчание; одних изумило его чистосердечие, а другим в его словах открылось то, о чем они, быть может, втайне мечтали сами.

Сенекаль поставил свою кружку пива на подоконник и догматическим тоном заявил, что проституция – тирания, а брак – безнравственность, и поэтому лучше всего воздерживаться. Делорье смотрел на женщин как на развлечение – только и всего. Г-ну де Сизи они внушали всякого рода опасения.

Ему, воспитанному под наблюдением благочестивой бабушки, общество этих молодых людей представлялось заманчивым, словно бы какой-нибудь притон, и поучительным, как Сорбонна. На уроки ему не скупилась; и он проявлял величайшее усердие, вплоть до того, что пробовал курить, невзирая на тошноту, каждый раз мучившую его потом.

Фредерик окружал его всяческими заботами. Он восторгался оттенками его галстуков, мехом его пальто и в особенности ботинками, тонкими, как перчатки, вызывающе изящными и блестящими; внизу на улице его всегда ждал экипаж.

Однажды после его отъезда – а в тот вечер шел снег – Сенекаль принялся жалеть его кучера. Потом направил свое красноречие против желтых перчаток, против Жокей-клуба. Любого рабочего он ставит выше, чем этих господ.

– Я-то, по крайней мере, тружусь, я беден!

– Оно и видно, – сказал наконец Фредерик, потеряв терпение.

Репетитор затаил на него злобу за эти слова.

Но вот, услышав как-то раз от Режембара, что он немного знает Сенекалья, Фредерик захотел оказать любезность приятелю Арну и пригласил его бывать по субботам. Встреча обоим патриотам была приятна.

Впрочем, они отличались друг от друга.

Сенекаль, у которого голова была клином, признавал только системы. Режембар, напротив, видел в фактах только факты. Его беспокоил главным образом вопрос о рейнской границе. Он утверждал, что знает толк в артиллерийском деле, и одевался у портного Политехнической школы.

Когда ему, в первое его посещение, предложили пирожного, он с презрением пожал плечами и сказал, что это годится лишь для женщин; в следующие разы он оказался не более учтив. Как только суждения собеседников затрагивали предметы более возвышенные, он бормотал: «О! Только без утопий! Без фантазий!» В области искусства (хоть он и посещал мастерские художников, где иногда, из любезности, давал урок фехтования) взгляды его не отличались глубиной. Он сравнивал стиль г-на Мараста со стилем Вольтера, г-жу де Сталь с м-ль Ватназ – только потому, что последняя написала «весьма смелую» оду в честь Польши. И наконец, Режембар раздражал всех, и в особенности Делорье, ибо он, Гражданин, был свой человек у Арну. А клерк жаждал попасть к ним в дом, надеясь завязать там полезные знакомства. «Когда же ты поведешь меня к ним?» – спрашивал он Фредерика. Но Арну то был чрезмерно занят делами, то собирался куда-нибудь ехать; потом оказывалось, что вообще уже ничего не стоит затевать, так как скоро обеды прекратятся.

Если бы ради друга надо было рискнуть жизнью, Фредерик не отступил бы. Но так как он стремился выставить себя в самом выгодном свете, следил за своими выражениями, манерами, костюмом и даже в «Художественную промышленность» являлся всегда в безукоризненных перчатках, то боялся, как бы Делорье, одетый в старый черный фрак, своими судейскими замашками и самоуверенностью в разговоре не произвел дурного впечатления на г-жу Арну, что могло бы скомпрометировать и его, унизив в ее глазах. Против кого-либо другого он не стал бы возражать, но именно этот человек стеснил бы его в тысячу раз больше, чем все остальные. Клерк заметил, что он не хочет исполнить обещанное, и молчание Фредерика по этому поводу казалось ему еще большим оскорблением.

Он хотел бы руководить им во всем, видеть, как он развивается в согласии с идеалами их юности, а праздность Фредерика возмущала его, как непослушание и как измена. К тому же Фредерик, всецело занятый мыслями о г-же Арну, часто говорил о ее муже, и Делорье придумал невыносимый способ дразнить его, состоявший в том, что он раз сто в день в конце каждой фразы, словно маньяк-идиот, повторял фамилию Арну. На стук в дверь он отвечал: «Войдите, Арну!» В ресторане он заказывал бри «а-ля Арну», а ночью, прикидываясь, что у него кошмар, будил приятеля воплем: «Арну! Арну!»

Наконец Фредерик, уже изнемогая, сказал ему как-то жалобным тоном:

– Да оставь ты меня в покое с этим Арну!

– Ни за что! – ответил клерк. –

Он всюду, он во всем, то хладный, то палящий,
Встает Арну...

– Да замолчи же! – закричал Фредерик, сжимая кулаки. И кротко добавил: – Ты ведь знаешь, мне тяжело говорить на эту тему.

– О! Извини, старина, – ответил Делорье, поклонившись весьма низко, – теперь мы примем в расчет нервы благородной девицы! Еще раз прошу прощения! Тысяча извинений!

Так был положен конец насмешкам.

Но три недели спустя, как-то вечером, он сказал Фредерику:

– А знаешь, я сегодня видел госпожу Арну!

– Где?

– В суде, с адвокатом Баландаром; брюнетка, среднего роста – верно?

Фредерик в знак подтверждения кивнул. Он ждал, что Делорье будет говорить о ней. При малейшем слове восхищения он излил бы всю душу, готов был бы обожать его; тот все молчал; наконец Фредерик, которому не терпелось, равнодушным тоном спросил, что он думает о ней.

Делорье находил, что она «недурна, но все же ничего особенного».

– А, ты находишь? – сказал Фредерик.

Наступил август месяц, время держать второй экзамен. По общему мнению, двух недель было достаточно, чтобы подготовиться. Фредерик, не сомневаясь в своих силах, одним духом проглотил первые четыре книги Процессуального кодекса, первые три – Уложения о наказаниях, несколько отрывков из Уголовного судопроизводства и часть Гражданского судопроизводства с примечаниями г-на Понселе. Накануне экзамена Делорье заставил его взяться за повторение, которое продолжалось до утра, а чтобы воспользоваться и последними минутами, он, уже идя с ним по улице, все не переставал его спрашивать.

Так как в одни и те же часы происходили экзамены по разным предметам, во дворе было много народа, между прочими – Юссонэ и Сизи; когда дело касалось кого-нибудь из товарищей, было принято приходить на экзамен. Фредерик облекся в традиционную черную мантию; вместе с другими тремя студентами, сопровождаемый целой толпой, он вошел в большой зал, где на окнах не было занавесок, а вдоль стен тянулись скамьи. Посредине, вокруг стола, покры-

того зеленым сукном, стояли кожаные стулья. Стол отделял кандидатов от господ экзаменаторов, восседавших в красных одеяниях, с горностаем через плечо, в беретах с золотым галуном.

Фредерик был предпоследним в списке – положение скверное. Отвечая на первый же вопрос – о разнице между условием и договором, – он перепутал определения, но профессор, добрый человек, сказал ему: «Не смущайтесь, милостивый государь, успокойтесь!» – потом, задав два легких вопроса, на которые получил неясный ответ, перешел наконец к четвертому. Фредерик был расстроен столь неудачным началом. Из публики Делорье знаками давал ему понять, что не все еще потеряно, и второй его ответ – на вопрос из Уголовного права – оказался сносным. Но после третьего, связанного с тайным завещанием, тревога Фредерика усилилась: профессор все время оставался бесстрастным, тогда как Юссонэ уже складывал руки для аплодисментов, а Делорье непрестанно пожимал плечами. Наконец пришла пора отвечать по судопроизводству! Дело шло о возращении со стороны третьих лиц. Профессор, неприятно удивленный тем, что ему приходится выслушивать теории, противоположные его собственным, резко спросил его:

– Это что же, милостивый государь, ваше мнение? Как же вы согласуете принцип статьи тысяча триста пятьдесят первой Гражданского кодекса с таким необыкновенным способом предъявлять иск?

У Фредерика очень болела голова – ведь он всю ночь не спал. Солнечный луч, проникнув в щель жалюзи, ударял ему прямо в лицо. Стоя за стулом, он переминался с ноги на ногу и тербил усы.

– Я жду вашего ответа! – сказал человек в золотистом берете. Жест Фредерика его, видимо, раздражал, и он добавил: – В усах вы его не отыщете!

Этот сарказм вызвал смех среди слушателей; польщенный профессор смягчился. Он задал ему еще два вопроса – о вызове в суд и об ускоренном судопроизводстве, затем опустил голову в знак одобрения; публичный экзамен был окончен. Фредерик вернулся в вестибюль.

Пока сторож снимал с него мантию, чтобы тотчас же надеть ее на другого, друзья окружили Фредерика и привели его в полное замешательство своими противоречивыми мнениями о результате экзамена. Этот результат вскоре был объявлен у входа в зал чьим-то звучным голосом:

– Номеру третьему... дана отсрочка!

– Срезался! – сказал Юссонэ. – Идемте!

Около швейцарской им повстречался Мартинон, красный, взволнованный, со смеющимися глазами и с ореолом победы вокруг чела. Он только что благополучно сдал последний экзамен. Оставалась теперь только диссертация. Через две недели он уже будет лицензиатом. Семья его знакома с министром, перед ним открывается «блестящая карьера».

– Этот все-таки тебя перегнал, – сказал Делорье.

Нет большего унижения, чем видеть глупца, преуспевающего там, где ты терпишь неудачу. Рассерженный Фредерик ответил, что ему наплевать, у него более высокие стремления. А когда Юссонэ собрался уходить, Фредерик отвел его в сторону и сказал:

– У них, разумеется, об этом ни слова!

Сохранить секрет было легко, ибо Арну на следующий день уезжал в путешествие по Германии.

Вернувшись вечером домой, клерк нашел в своем друге странную перемену: он делал пируэты, насвистывал; а когда Делорье выразил свое удивление по этому поводу, он объявил, что не поедет к матери; на каникулах он будет заниматься.

Его охватила радость, когда он узнал, что Арну уезжает. Теперь он может являться туда, когда захочет, не опасаясь никакой помехи в своих посещениях. Уверенность в полной безопасности придаст ему отваги. Наконец-то он не будет вдали от нее, не будет разлучен с нею.

К Парижу его приковывало нечто более крепкое, чем железная цепь, внутренний голос повелевал ему остаться.

Возникли всякие препятствия. Он преодолел их, написал матери; прежде всего он признался в своей неудаче, вызванной изменениями в программе, – случайность, несправедливость; впрочем, все выдающиеся адвокаты (он приводил имена) проваливались на экзаменах. Но он рассчитывает снова держать их в ноябре. А так как времени ему нельзя терять, то в нынешнем году он не поедет домой и просит, помимо денег, присылаемых ему на три месяца, еще двести пятьдесят франков – на занятия с репетитором, которые принесут ему большую пользу; все это было разукрашено сожалениями, утешениями, нежностями и заверениями в сыновней любви.

Госпожа Моро, ждавшая его на следующий день, вдвойне была огорчена. Она утаила его неудачу и ответила ему, чтобы он «все-таки приезжал». Фредерик не уступил. Начался разлад. Тем не менее к концу недели он получил деньги на три месяца и сумму, которая предназначалась репетитору, а в действительности послужила для уплаты за светло-серые панталоны, белую фетровую шляпу и трость с золотым набалдашником.

Когда все это оказалось в его распоряжении, он подумал: «А может быть, такая затея достойна парикмахера?»

И им овладели большие сомнения.

Чтобы решить, идти ли ему к г-же Арну, он три раза подбрасывал монету. Все три раза предзнаменование было благоприятно. Итак, то было веление судьбы. Фиакр отвез его на улицу Шуазель.

Он быстро поднялся по лестнице, потянул за шнур от звонка; звонок не зазвонил: Фредерик чувствовал, что вот-вот лишится чувств.

Тогда он с неистовой силой дернул тяжелую кисть красного шелка. Колокольчик зазвенел, потом постепенно замолк; и опять ничего не стало слышно. Фредерик испугался.

Он приложил ухо к двери; ни звука! Он заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел в передней, кроме двух тростинок на фоне обоев с узором из цветов. Он собрался уже уходить, но передумал. На этот раз он совсем тихонько постучал. Дверь отворилась, и вот, со всклокоченными волосами, багровым лицом и недовольным видом, на пороге предстал сам Арну.

– Ба! Каким это чертом вас занесло? Входите!

Он ввел его, только не в будуар и не в свою комнату, а в столовую, где на столе стояла бутылка шампанского и два бокала; он отрывисто спросил:

– Вам, дорогой друг, что-нибудь нужно от меня?

– Да нет! Ничего, ничего! – пробормотал молодой человек, стараясь чем-либо объяснить свое посещение.

В конце концов Фредерик сказал, что пришел справиться о нем, так как слышал от Юссонэ, будто он в Германии.

– И не собирался туда! – ответил Арну. – Что за куриные мозги у этого молодца, все слышит навыворот!

Чтобы скрыть свое замешательство, Фредерик стал расхаживать взад и вперед по комнате. Зацепившись за ножку стула, он уронил зонтик, лежавший на нем; ручка слоновой кости разбилась.

– Боже мой! – воскликнул он. – Какая жалость, я разбил зонтик госпожи Арну!

При этих словах торговец поднял голову и как-то странно улыбнулся. Фредерик, воспользовавшись случаем заговорить о ней, робко спросил:

– А можно ее увидеть?

Она, оказывается, была в своих родных краях, у больной матери.

Он не осмелился спросить, сколько продлится ее отсутствие. Он лишь спросил, откуда родом г-жа Арну.

– Из Шартра. Это вас удивляет?

– Меня? Нет! Почему? Нисколько!

Теперь им решительно не о чем было говорить. Арну, свернув папиросу, расхаживал кругом стола и отдувался. Фредерик, прислонившись к печке, рассматривал стены, шкаф, паркет, и в его памяти, вернее, перед его глазами вереницей тянулись прелестные образы. Наконец он ушел.

В передней на полу валялся обрывок газеты, скомканный в шарик; Арну его поднял и, встав на цыпочки, засунул в звонок, чтобы продолжить, как он выразился, нарушенный послеобеденный отдых. Потом, пожимая Фредерику руку, сказал:

– Пожалуйста, предупредите привратника, что меня нет дома!

И изо всей силы захлопнул за ним дверь.

Фредерик медленно спустился по лестнице. Неудача первой попытки лишала его надежды на дальнейший успех. Наступили три месяца, полных тоски. Занятий у него не было никаких, и безделье еще усиливало его печаль.

Он целыми часами глядел со своего балкона на реку; она текла между сероватыми набережными, почерневшими кое-где от грязи сточных труб, на берегу был плот для стирки белья, где мальчишки иногда забавлялись тем, что купали в илистой воде какого-нибудь пуделька. Не оборачиваясь налево, в сторону Каменного моста у собора Богоматери и трех висячих мостов, он всегда смотрел на набережную Вязов, на густые старые деревья, напоминавшие липы у пристани Монтеро. Башня Св. Иакова, Ратуша, церкви Св. Гервасия, Св. Людовика, Св. Павла возвышались прямо напротив, среди моря крыш, а на востоке, точно огромная золотая звезда, сверкал ангел на Июльской колонне, с другого же края небосклона круглой громадой рисовался голубой купол Тюильри. В этой стороне, где-то там, дальше, должен был быть и дом г-жи Арну.

Фредерик возвращался в свою комнату; он ложился на диван и предавался беспорядочным думам – о планах работ, о том, как себя вести, о будущем, к которому рвался. Наконец, чтобы уйти от самого себя, он отправлялся на улицу.

Он шел куда глаза глядят по Латинскому кварталу, обычно столь шумному, но в эту пору пустынному, так как студенты разъезжались по домам. Длинные стены учебных заведений, как будто еще более растянувшиеся от этого безмолвия, стали еще угрюмее; мирная повседневность давала о себе знать всякого рода шумами: птица билась в клетке, скрипел токарный станок, сапожник стучал молотком, а старьевщики, бредя посреди улицы, тщетно вопрошали взглядом каждое окно. В глубине безлюдных кафе продавщицы зевали между полными графинами; на столах читален в порядке лежали газеты; в прачечной от порывов теплого ветра колыхалось белье. Время от времени он останавливался перед лавкой букиниста; omnibus, который проезжал мимо, задевая тротуар, заставлял его обернуться; а добравшись до Люксембургского сада, он дальше уже и не шел.

Иногда надежда чем-нибудь развлечься притягивала его к бульварам. Из темных переулков, где веяло сыростью, он попадал на большие пустынные площади, залитые солнцем, а от какого-нибудь памятника на мостовую падала черная зубчатая тень. Но вот опять начинали грохотать повозки, опять тянулись лавки, и толпа оглушала его – особенно по воскресеньям, когда от самой Бастилии вплоть до церкви Св. Магдалины среди пыли, среди несмолкающего шума несли по асфальту огромный зыблущийся людской поток; его прямо тошнило от пошлости всех этих лиц, глупости разговоров, дурацкого самодовольства, написанного на потных лбах! Однако сознание, что сам он стоит выше этих людей, ослабляло усталость от подобного зрелища.

Каждый день Фредерик ходил в «Художественную промышленность», а чтобы узнать, когда вернется г-жа Арну, очень пространно расспрашивал о здоровье ее матери. Ответ Арну

оставался неизменным: «Дело идет на поправку», – жена с девочкой должны были вернуться на будущей неделе. Чем дольше она медлила с возвращением, тем больше беспокойства проявлял Фредерик, так что Арну, тронутый этим сочувствием, раз пять-шесть приглашал его обедать в ресторан.

Во время этих длительных свиданий с глазу на глаз Фредерик понял, что торговец картинами не блещет умом. Но Арну мог бы заметить охлаждение с его стороны, и к тому же надо было хоть в некоторой степени отплатить ему за любезность.

Желая устроить все как можно лучше, он продал старьевщику за восемьдесят франков все новые свои костюмы и, прибавив к этой сумме еще сотню, оставшуюся у него, пошел к Арну пригласить его на обед. Там оказался Режембар. Пошли в ресторан «Три провансальских брата».

Гражданин прежде всего снял сюртук и, уверенный в одобрении своих сотрапезников, составил меню. Но хотя он и отправлялся на кухню, чтобы самолично переговорить с поваром, спустился в погреб, все закоулки которого знал, и вызвал хозяина ресторана, причем «намылил ему голову», – его не удовлетворили ни кушанья, ни вина, ни сервировка. При каждом новом блюде, при каждой новой марке вина он после первого же куска, первого же глотка бросал вилку или отодвигал бокал; потом, поставив локти на стол, вопил, что в Париже невозможно стало пообедать! Наконец, не зная, какое блюдо придумать, Режембар заказал себе «попросту» бобов на прованском масле, которые, хоть и не вполне удались, все же несколько умиротворили его. Затем у него завязался с лакеем диалог о прежних лакеях у «Провансальских братьев»: «Что случилось с Антуаном? А с неким Эженом? А с Теодором, тем маленьким, что прислуживал всегда внизу? В ту пору еда здесь была куда более тонкая, а бургонское – такое, какого больше уж и не встретишь!»

Потом речь зашла о ценах на землю в пригородах в связи с какой-то спекуляцией Арну, совершенно беспрюграммной. Пока что он терял на процентах. Так как он ни за что не соглашался продавать, Режембар предложил свести его с одним человеком, и оба принялись с карандашом в руках за какие-то вычисления, продолжавшиеся до конца десерта.

Кофе пошли пить в пассаж «Сомон», в кофейню, помещавшуюся на антресолях. Фредерик, все время стоя, следил за бесконечными партиями на бильярде, за которыми следовали бесчисленные кружки пива; и он пробыл тут до полуночи, сам не зная зачем, из малодушия, по глупости или в смутной надежде на какую-нибудь случайность, благоприятную для его любви.

Когда же он вновь увидит ее? Фредерик приходил в отчаяние. Но однажды вечером в конце ноября Арну сказал ему:

– Знаете, вчера вернулась жена!

На следующий день, в пять часов, он уже входил к ней.

Он стал поздравлять ее с выздоровлением матери, которая была так тяжело больна.

– Да нет. Кто вам сказал?

– Арну!

У нее вырвалось легкое «а-а!»; потом она прибавила, что сперва у нее были серьезные опасения, но теперь все прошло.

Она сидела у камина в глубоком вышитом кресле. Он расположился на диване, шляпу держал на коленях, и разговор был томительный; она его несколько не поддерживала; повода заговорить о своих чувствах он не находил. А когда пожаловался, что должен изучать крючкотворство, она сказала: «Да... понимаю... процессы!» – и наклонила голову, внезапно поглощенная какими-то мыслями.

Он жаждал их узнать, уже и не думал ни о чем ином. Наступили сумерки, сгустились тени вокруг.

Она поднялась – ей предстояло куда-то идти, – потом появилась вновь в бархатной шляпке и черной накидке, отороченной беличьим мехом. Он осмелился предложить себя в провожатые.

Уже совсем стемнело, погода была холодная, и густой зловонный туман заволакивал фасады домов. Фредерик вдыхал его с наслаждением – ведь сквозь ватную подкладку он ощущал форму ее локтя, а ее ручка в замшевой перчатке на двух пуговицах, ее маленькая ручка, которую ему хотелось покрыть поцелуями, опиралась на его руку. Было скользко, и они шли походкой не совсем твердой, ему казалось, что их обоих, окутанных облаком, укачивает ветер.

Блеск фонарей на бульварах вернул его к действительности. Случай был подходящий, надо было спешить. Он решил, что признается в любви, когда минуют улицу Ришелье. Но почти в ту же минуту она остановилась у посудного магазина и сказала:

– Вот мы и дошли, благодарю вас. До четверга, не правда ли, как всегда?

Обеды возобновились, и чем чаще он бывал у г-жи Арну, тем большее испытывал томленье.

Созерцание этой женщины изнуряло его, словно аромат слишком крепких духов. Он чувствовал, как что-то проникает в самые глубины его существа, подчиняет себе все другие его ощущения, становясь для него новой формой бытия.

Проститутки, встречавшиеся ему при свете газовых фонарей, певицы, выводившие рулады, наездницы, мчавшиеся галопом, мещанки, шедшие пешком, гризетки у своих окон – все женщины напоминали ее в силу сходства или резкого контраста. Он смотрел на выставленные в лавках кашемировые шали, кружева и подвески из драгоценных камней, рисуя в своем воображении, как они драпируют ее стан, украшают ее корсаж, огнями сверкают в ее черных волосах. На лотках у цветочниц цветы распускались для того, чтобы, проходя мимо, она могла выбрать их; в витрине башмачника атласные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, казалось, ждали ее ножек; все улицы вели к ее дому; экипажи на площадях стояли только для того, чтобы скорее можно было приехать к ней; Париж был связан с ней, и весь этот огромный город, полный стольких голосов, гудел, как исполинский оркестр, вокруг нее.

Когда он приходил в Ботанический сад, вид пальмы уносил его в далекие страны. Вот они путешествуют вместе на спине верблюда, в палатке на слоне, в каюте яхты среди лазурного архипелага или едут рядом на мулах с бубенцами, спотыкающихся в траве о разбитые колонны. Порою он останавливался в Лувре перед старинными полотнами, а так как любовь преследовала его и в былых веках, то лица на картинах он заменял образом любимой. Она в высоком головном уборе молилась на коленях за свинцовой решеткой окна. Властительница обеих Кастилий или Фландрии, она восседала в накрахмаленных брыжах и в стянутом лифе с пышными буфами. Или спускалась по огромной порфировой лестнице, окруженная сенаторами, в парчовом платье, под балдахинном из страусовых перьев. А порою она представлялась его мечтам в желтых шелковых шальварах, на подушках, в гареме, и все, что было прекрасного, – мерцание звезд, мелодия, ритм фразы, какое-нибудь очертание – все это внезапно и незаметно возвращало его помыслы к ней.

Но он был уверен, что всякая попытка сделать ее своей любовницей будет напрасна.

Однажды вечером Дитмер, войдя, поцеловал ее в лоб; Ловариас сделал то же самое и сказал:

– Вы позволяете, не так ли? Это право друзей...

Фредерик пробормотал:

– Мне кажется, мы все здесь друзья?

– Но не все старые! – возразила она.

Это значило, что косвенным путем она уже заранее отвергает его.

Но что же делать? Сказать ей, что он ее любит? Она, наверно, попросит, чтобы он оставил ее или даже с негодованием выгонит из дома! Он же любые мучения предпочел бы страшной участи больше никогда не видеть ее.

Он завидовал таланту пианистов, шрамам солдат. Он мечтал об опасной болезни, надеясь хоть таким путем привлечь ее внимание.

Одно удивляло его – то, что он не ревновал к Арну; и он не мог представить себе ее иначе, как одетой, – настолько естественной казалась ее стыдливость, отодвигавшая ее пол в какую-то таинственную тень.

А меж тем он мечтал о счастье жить с нею, говорить ей «ты», подолгу гладить ее волосы или стоять перед ней на коленях, обняв ее стан, упиваться ее взглядом, в котором светилась ее душа! Для этого пришлось бы побороть злой рок; а он, неспособный к действию, проклиная Бога и обвиняя себя в малодушии, метался в плену у своих желаний, как узник в каземате. Он задыхался от тоски, не оставлявшей его. Он целыми часами сидел неподвижно или вдруг разражался слезами; но однажды, когда у него не хватило сил сдержаться, Делорье ему сказал:

– Да что с тобою, черт возьми?

Оказывается, Фредерик страдает нервами. Делорье и не поверил бы. Увидев такие муки, он почувствовал, как в нем пробуждается былая нежность к другу, и попытался вернуть ему бодрость. Такой человек, как он, и вдруг падает духом! Что за нелепость! В юности еще куда ни шло, но позднее – это же только потеря времени.

– Не узнаю моего Фредерика! Я требую прежнего. Человек, еще порцию! Тот был мне по вкусу! Ну, выкури трубку, скотина! Да встряхнись ты, ведь ты меня приводишь в отчаяние!

– Правда, – сказал Фредерик, – я с ума схожу!

Клерк продолжал:

– А, старый трубадур, я ведь знаю, что тебя печалит. Сердечко? Признавайся-ка. Ерунда! Одну потеряем, четырех найдем! За добродетельных дам нас утешают другие. Хочешь, я познакомлю тебя с женщинами? Стоит только сходить в «Альгамбру». (Это были публичные балы, недавно открывшиеся в конце Елисейских Полей и потерпевшие крах уже в следующем сезоне, чему виной явилась роскошь, преждевременная для такого рода предприятий.) Там, говорят, весело. Съездим туда! Возьми, если хочешь, своих приятелей; я согласен даже на Режембара!

Фредерик Гражданина не пригласил. Делорье обошелся без Сенекала. Они захватили с собой только Юссонэ, Сизи и Дюссардые, и один фиакр доставил всех пятерых к подъезду «Альгамбры».

Две галереи в мавританском стиле, параллельные одна другой, тянулись справа и слева. Перпендикулярно им подымалась стена дома, а четвертая сторона (там, где был ресторан) изображала ограду монастыря с цветными стеклами, на готический лад. Над эстрадой, где играли музыканты, раскинулось нечто вроде шатра в китайском вкусе; земля была залита асфальтом, а венецианские фонари, качавшиеся на столбах, казались издали венцом из разноцветных огней над толпой танцующих. То тут, то там на пьедестале покоилась каменная чаша, из которой били тонкие струйки воды. Среди листвы виднелись гипсовые статуи – Гебы и купидонов, еще липкие от свежей масляной краски, а благодаря многочисленным аллеям, посыпанным ярко-желтым песком и тщательно расчищенным, сад казался гораздо обширнее, чем был на самом деле.

Студенты прогуливались со своими возлюбленными; приказчики из модных лавок важно выступали, щеголяя тросточками; воспитанники коллежей закуривали сигары; старые холостяки расчесывали гребешком свои крашенные бороды; были тут англичане, русские, приезжие из Южной Америки, три восточных человека в фесках. Лоретки, гризетки, публичные женщины пришли сюда в надежде найти покровителя, любовника, золотую монету или просто ради удовольствия потанцевать, и их широкие платья, светло-зеленые, темно-вишневые и фиолетовые, проносились, развеваясь, среди кустов ракичника и сирени. Мужчины почти все

были в костюмах из клетчатой материи, иные, несмотря на прохладный вечер, в белых панталонах. Зажигались газовые рожки.

Юссонэ, благодаря своим связям с модными журналами и мелкими театрами, знал многих женщин; он посылал им воздушные поцелуи и время от времени покидал друзей, чтобы поговорить с той или иной из них.

Делорье позавидовал его развязности. Он нагло пристал к высокой блондинке в нанковом платье. Она угрюмо посмотрела на него и сказала: «Нет, любезный, никакого к тебе доверия!» – и пошла от него.

Он вновь попытал счастья – теперь с толстой брюнеткой, наверное сумасшедшей, ибо при первом же его слове она вскочила, грозя позвать полицию, если он не отстанет. Делорье натянуто рассмеялся; потом, заметив маленькую женщину, которая сидела в сторонке под фонарем, пригласил ее на кадрили.

Музыканты, сидевшие на эстраде в обезьяньих позах, пиликали и трубили вовсю. Капельмейстер, стоя, автоматическим движением отбивал такт. Все сбились в кучу и веселились; развязавшиеся ленты шляпок задевали за галстуки, сапоги запутывались в юбках; все ритмично подпрыгивали. Делорье прижимал к себе маленькую женщину и, охваченный неистовством канкана, бесновался среди танцующих, точно большая марионетка. Сизи и Дюссардье продолжали прогуливаться; молодой аристократ направлял лорнет на девиц, но, несмотря на уговоры приказчика, не смел заговорить с ними, воображая, будто у таких женщин «всегда спрятан в шкафу человек с пистолетом, выскакивающий оттуда, с тем чтобы заставить вас подписать вексель».

Они вернулись к Фредерику. Делорье уже не танцевал, и все были заняты мыслью, как же закончить вечер; вдруг Юссонэ воскликнул:

– А! Вот маркиза д'Амаэги!

Это была бледная женщина со вздернутым носом, в митенках до локтей, с длинными черными локонами, свисавшими на щеки, точно собачьи уши. Юссонэ сказал ей:

– Надо бы нам устроить у тебя маленький кутеж, восточный раут. Постарайся собрать кой-кого из подруг для этих французских рыцарей. Ну что тебя смущает? Может быть, ты ждешь своего идалго?

Андалузка стояла потупившись; зная отнюдь не роскошный образ жизни своего приятеля, она опасалась, как бы ей не пришлось расплачиваться за него. Но как только она заикнулась о деньгах, Сизи предложил пять наполеондоров, все содержимое своего кошелька; дело было решено. Однако Фредерик уже исчез.

Ему показалось, что он узнал голос Арну; он заметил дамскую шляпку и поспешил под сень боскета, тут же невдалеке.

Мадемуазель Ватназ была наедине с Арну.

– Извините! Я вам не помешал?

– Ничуть! – ответил торговец.

Из последних слов их разговора Фредерик понял, что Арну прибежал в «Альгамбру» поговорить с м-ль Ватназ о неотложном деле и, по-видимому, был не совсем спокоен, так как спросил ее с тревогой в голосе:

– Вы вполне уверены?

– Вполне уверена! Вас любят! Ах, что за человек!

И она надулась на него, выпятив свои толстые губы почти кровавого цвета – так они были накрашены. Зато у нее были чудесные глаза, карие, с золотистыми отблесками в зрачках, умные, полные любви и чувственности. Они, точно лампы, озаряли ее желтоватое и худое лицо. Арну как будто наслаждался резкостью ее обращения. Он наклонился к ней и сказал:

– Вы так милы, поцелуйте же меня!

Она взяла его за уши и поцеловала в лоб.

В этот миг танцы прекратились, и на месте капельмейстера появился красивый молодой человек, чрезмерно полный, с белым как воск лицом; у него были длинные черные волосы, ниспадавшие на плечи, как у Христа, лазоревого цвета бархатный жилет, расшитый большими пальмовыми ветками, вид гордый, как у павлина, и глупый, как у индюка; поклонившись публике, он запел шансонетку. В ней крестьянин описывал свое путешествие в столицу; артист пел на нижненормандском наречии, изображая пьяного, а после припева:

То-то хохот, то-то смех
Там в Париже – прямо грех! –

раздавался всякий раз топот, которым публика выражала свой восторг. Дельмас, этот мастер «выразительного пения», был слишком ловок, чтобы дать восторгу остыть. Ему поспешили вручить гитару, и он жалобно пропел романс под названием «Брат албанки».

Слова напомнили Фредерику песню, которую на пароходе, между двумя колесными кожухами, пел арфист в лохмотьях. Он невольно обращал взгляд на подол платья, раскинутого перед ним. За каждым куплетом следовала длительная пауза, и шелест ветра, игравшего листвою, казался шумом волн.

Мадемуазель Ватназ, раздвинув ветви бирючины, закрывавшие эстраду, пристально смотрела на певца; ее ноздри раздувались, глаза были прищурены, и вся она как будто отдавалась чувству глубокой сосредоточенной радости.

– Превосходно! – сказал Арну. – Я понимаю, почему вы нынче вечером в «Альгамбре»! Вам, моя милая, нравится Дельмас.

Она не хотела признаваться.

– О! Какая стыдливость!

И он указал на Фредерика.

– Может быть, из-за него? Вы не правы. Нет юноши более скромного!

Остальные, искавшие своего приятеля, тоже вошли в зеленую беседку. Юссонэ их представил. Арну всем предложил сигары и угостил всю компанию шербетом.

Мадемуазель Ватназ покраснела, увидев Дюссардье. Она вскоре поднялась со своего места и протянула ему руку:

– Вы узнаете меня, господин Огюст?

– Откуда вы ее знаете? – спросил Фредерик.

– Мы вместе служили в одном магазине! – ответил он.

Сизи дергал его за рукав, они вышли; и едва они скрылись, как м-ль Ватназ начала восхвалять характер Дюссардье. Она даже прибавила, что «его сердце – это особый дар».

Потом завели речь о Дельмасы, который благодаря своей мимике мог бы рассчитывать на успех и в театре; и завязался спор, в котором попадались вперемежку Шекспир, цензура, стиль, народ, сборы театра Порт Сен-Мартен, Александр Дюма, Виктор Гюго и Дюмерсан. Арну был знаком с несколькими знаменитыми актрисами; молодые люди даже наклонились, чтобы лучше слышать его. Но слова его заглушал грохот музыки; а как только заканчивалась полька или кадрили, все бросалось к столикам, подзывали официантов, хохотали; в гуще листвы хлопали пробки от бутылок пива и шипучего лимонада; женщины кудахтали, как куры; временами каких-нибудь два господина затевали драку; был задержан вор.

Музыка заиграла галоп, и танцоры наводнили аллеи. Запыхавшиеся, с покрасневшими и улыбающимися лицами, они летели вихрем, так что развевались платья и фалды сюртуков; все громче ревели тромбоны, темп ускорялся; за средневековой монастырской оградой послышался треск, стали разрываться ракеты; завертелись солнца; изумрудное сияние бенгальских огней целую минуту освещало весь сад, и при последней ракете у толпы вырвался глубокий вздох.

Расходились медленно. В воздухе плавало облако порохового дыма. Фредерик и Делорье шаг за шагом продвигались в толпе, как вдруг им представилось зрелище: Мартинон требовал сдачу у вешалки, где хранятся зонты; он сопровождал даму лет пятидесяти, некрасивую, величественно одетую и принадлежавшую неизвестно к какому общественному кругу.

– Этот молодчик, – сказал Делорье, – не так прост, как можно подумать. Но где же Сизи? Дюссардье показал на кабачок, в котором они увидели потомка рыцарей за чашей пунша в обществе розовой шляпки.

Юссонэ, куда-то исчезнувший минут пять тому назад, появился вновь.

На руку его опиралась девушка, вслух называвшая его «котик».

– Перестань, – говорил он ей. – Перестань! Нельзя же на людях! Лучше называй меня виконтом! Вот это будет изысканно, как во дни Людовика Тринадцатого и вельмож в мягких сапогах, это мне по душе. Да, дражайшие, вот перед вами старая приятельница! Не правда ли, она мила?

Он взял ее за подбородок.

– Приветствуй этих господ! Они все сыновья пэров Франции! Я поддерживаю с ними знакомство, чтобы попасть в посланники!

– Этаким вы забавник! – вздохнула м-ль Ватназ.

Она попросила Дюссардье проводить ее домой.

Арну посмотрел им вслед, потом обратился к Фредерику:

– Нравится вам эта Ватназ? Впрочем, вы на этот счет неоткровенны! Мне кажется, вы скрываете ваши увлечения?

Фредерик, поблуднев, стал клясться, что ничего не скрывает.

– Да ведь неизвестно, есть ли у вас любовница, – продолжал Арну.

Фредерику хотелось назвать наудачу какое-нибудь имя. Но это могли пересказать ей. Он ответил, что в самом деле у него нет любовницы.

Торговец порицал его за это.

– Нынче вечером вам представлялся случай. Отчего вы не сделали, как другие? Каждый уходит с женщиной.

– Ну а вы? – сказал Фредерик, выведенный из терпения такой настойчивостью.

– О! Я дело другое, мой милый! Я возвращаюсь к собственной жене!

Он кликнул кабриолет и скрылся.

Друзья пошли пешком. Дул восточный ветер. Оба молчали. Делорье жалел, что не блеснул перед издателем журнала, а Фредерик погрузился в свою печаль. Наконец он заметил, что бал показался ему преглупым.

– А кто виноват? Если бы ты не бросил нас для своего Арну...

– Э! Все, что бы я ни затеял, все было бы совершенно бесполезно!

Но у клерка были свои теории. Чтобы чего-нибудь добиться, стоит лишь сильно пожелать.

– А между тем ты сам только что...

– Наплевать мне было! – сказал Делорье, сразу пресекая намек. – Стану я путаться с бабами!

И он начал обличать их жеманство, их глупость; словом, не нравятся они ему.

– Будет тебе рисоваться! – сказал Фредерик.

Делорье замолчал. Потом вдруг предложил:

– Хочешь пари на сто франков, что я столкнусь с первой же встречной!

– Идет!

Первой им попала навстречу отвратительная нищая, и они уже стали терять надежду, как вдруг на середине улицы Риволи увидели высокую девушку с картонкой в руке...

Делорье подошел к ней под арками. Она быстро свернула по направлению к Тюильри и вскоре вышла на площадь Карусели, оглядываясь по сторонам. Она бросилась за фиакром;

Делорье нагнал ее. Теперь он шел рядом с ней, сопровождая слова выразительными жестами. Наконец она взяла его под руку, и они двинулись дальше по набережным. Они дошли до Шатле, где потратили по крайней мере минут двадцать, шагая взад и вперед по тротуару, точно два матроса на вахте. Но вот они перешли Казначейский мост, пересекли Цветочный рынок, вышли на набережную Наполеона. Фредерик вслед за ними вошел в подъезд. Делорье дал ему понять, что он им помешает и ему остается лишь последовать их примеру.

– Сколько у тебя еще в кошельке?

Две монеты по сто су!

– Хватит вполне! Покойной ночи!

Фредериком овладело то удивление, какое испытываешь при виде удавшейся шутки. «Он надо мной смеется, – думал Фредерик. – Что, если я подымусь?» Делорье, пожалуй, решит, что он завидует его любовному приключению? «Как будто я сам не знаю любви, да еще во сто раз более редкостной, более благородной, более сильной!» Им овладела какая-то злоба. Он очутился у подъезда г-жи Арну.

Ни одно окно в ее квартире не выходило на улицу. И все-таки он остановился, не сводил глаз с фасада, как будто впиваясь в него взглядом, он мог пробиться сквозь стену. Сейчас, наверное, она почивает, безмятежная, как заснувший цветок; чудесные черные волосы покоятся на кружевах подушки, губы полуоткрыты, руку она подложила под голову.

Ему померещилась и голова Арну. Он скорее отошел, чтобы спастись от этого видения.

Фредерик вспомнил совет Делорье и ужаснулся. Тогда он отправился бродить по улицам.

Едва навстречу приближался пешеход, Фредерик старался разглядеть его лицо. Порою луч света скользил у него под ногами, описывал на гладкой мостовой огромную дугу, и из темноты появлялся человек с корзиной на плече и с фонарем. Кое-где от ветра сотрясалось железо дымовой трубы; откуда-то издали доносились звуки, они сливались с шумом в его голове, и тогда ему чудилось, будто в воздухе смутно звучит ритурнель кадрили. Быстрая ходьба поддерживала в нем чувство опьянения; он оказался на мосту Согласия.

И тут ему вспомнился другой вечер, год тому назад, когда, в первый раз возвращаясь от нее, он вынужден был остановиться – так сильно билось сердце, полное надежд. Все они умерли теперь!

Неслись темные облака, временами заволакивая луну. Фредерик смотрел на нее, думая о беспредельности пространств, о ничтожестве жизни, о тщете всего. Наступил рассвет; зубы у него стучали, и вот, полусонный, промокший от тумана, весь в слезах, он спросил себя, почему бы не положить всему этому конец. Стоит лишь сделать одно движение. Голова тянула его своею тяжестью, он уже видел свой труп, плывущий по воде; Фредерик наклонился. Парапет был несколько широк, и только от усталости Фредерик не попытался перепрыгнуть через него.

Страх овладел им. Он вернулся на бульвары и в изнеможении опустил на скамейку. Его разбудили полицейские, уверенные, что он «кутнул».

Фредерик встал и опять пошел. Но так как он сильно проголодался, а все рестораны были закрыты, то позавтракал он в кабачке на Крытом рынке. Потом, рассчитав, что еще слишком рано, он до четверти девятого бродил вокруг Ратуши.

Делорье давно уже отпустил свою красотку; теперь он сидел за столом посредине комнаты и писал. Часов около четырех появился г-н де Сизи.

Благодаря Дюссардьё он накануне вечером вступил в беседу с некоей дамой и даже проводил ее в экипаже вместе с ее мужем до самого дома, где она ему назначила свидание. Он только что оттуда. Ее там и не знают!

– Так чем же я могу вам помочь? – сказал Фредерик.

Тогда молодой дворянин стал молотить всякий вздор; он говорил о м-ль Ватназ, об андалузке и обо всех прочих. Наконец, после множества всяких отступлений, изложил цель своего визита: полагаясь на скромность приятеля, он пришел просить его содействия в одной попытке,

после которой окончательно сможет считать себя мужчиной. Фредерик ему не отказал. Он посвятил в эту историю и Делорье, скрыв только то, что касалось его лично.

Клерк нашел, что «теперь он привел себя в полный порядок». Столь послушное отношение к его советам привело его в еще лучшее расположение духа.

Именно своей веселостью он и пленил с первой же встречи м-ль Клеманс Давиу, вышивальщицу золотом для военной обмундировки, кротчайшее в мире создание, стройное, как тростник, с большими голубыми глазами, вечно изумленными. Клерк злоупотреблял ее наивностью – вплоть до того, что уверял ее, будто награжден орденом; когда они оставались наедине, он украшал свой сюртук красной ленточкой, но на людях от этого воздерживался, якобы потому, что не хотел унижать своего начальника. Впрочем, он держал ее на известном расстоянии, позволял себя ласкать, как какой-нибудь паша, и шутки ради называл ее «дочь народа». Всякий раз она приносила ему букетик фиалок. Фредерик не хотел бы такой любви.

Все же, когда они под руку уходили обедать к Пенсону или к Барийо в отдельный кабинет, им овладевала странная тоска. Фредерик и не подозревал, какие страдания он причинял Делорье в течение целого года, каждый четверг, когда, собираясь идти на улицу Шуазэль, чистил себе ногти!

Однажды вечером, стоя у себя на балконе и глядя им вслед, он вдали, на Аркольском мосту, заметил Юссонэ. Тот знаками стал звать его, а когда Фредерик спустился с пятого этажа, сообщил:

– Дело вот в чем: в субботу, двадцать четвертого, именины госпожи Арну.

– Как? Ведь ее зовут Марией?

– И Анжелой. Да не все ли равно? Праздновать будут у них на даче, в Сен-Клу; мне поручено известить вас. В три часа у редакции вас будет ждать экипаж. Итак, решено! Простите, что беспокоил. Но у меня столько дела!

Едва Фредерик вернулся, как привратник подал ему письмо:

«Господин и госпожа Дамбрёз просят господина Ф. Моро сделать им честь пожаловать к обеду в субботу, 24-го сего месяца. Соблаговолите ответить».

«Слишком поздно», – подумал он.

Тем не менее он показал письмо Делорье, который воскликнул:

– А! Наконец-то! Но ты как будто недоволен? Почему?

Фредерик после некоторого колебания сказал, что на этот день у него еще другое приглашение.

– Сделай ты мне удовольствие – плюнь на улицу Шуазэль! Брось глупости! Если ты стесняешься, я напишу за тебя.

И клерк в третьем лице написал, что приглашение принято.

Зная свет лишь сквозь лихорадку своих вожелений, он представлял его себе как искусственное творение, действующее по математическим законам. Званный обед, встреча с влиятельным лицом, улыбка красивой женщины могли вызвать целый ряд поступков, вытекающих один из другого, иметь гигантские последствия. Иные из парижских салонов были в его глазах машинами, принимающими сырой материал и путем переработки придающими ему ценность во сто раз большую. Он верил в существование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные браки, заключенные путем интриг, в гениальность каторжников, в случайность, покорную сильной руке. Словом, он считал знакомство с Дамбрёзами столь полезным и проявил такое красноречие, что Фредерик уже не знал, какое принять решение.

Но, как бы то ни было, раз предстоит именины г-жи Арну, он должен сделать ей подарок; он, разумеется, подумал о зонтике, так как хотел загладить свою неловкость. И вот ему попался китайский зонтик переливчатого шелка с резной ручкой из слоновой кости. Но он стоил сто семьдесят пять франков, а у Фредерика не было ни одного су, жил он даже в кредит, в счет

ожидаемых денег. Все же он непременно хотел его купить и, хоть это ему и претило, обратился к Делорье.

Делорье ответил, что у него нет денег.

– Мне нужно, – сказал Фредерик, – очень нужно!

А когда Делорье еще раз извинился, он вышел из себя.

– Ты бы мог иногда...

– Что?

– Ничего!

Клерк понял. Он взял из своих сбережений требуемую сумму и, отсчитав монету за монетой, сказал:

– Не беру расписки, потому что живу на твой счет!

Фредерик бросился ему на шею, всячески уверяя в своей дружбе. Делорье остался холоден. На другой день он увидел на рояле зонтик.

– Ах! Вот оно что!

– Я, может быть, его отошлю, – малодушно ответил Фредерик.

Помог случай: вечером он получил письмо с траурной каймой, в котором г-жа Дамбрёз, сообщая о смерти дяди, сожалела, что вынуждена отложить удовольствие с ним познакомиться.

К двум часам Фредерик пришел в контору газеты. Вместо того чтобы ждать его и везти в своем экипаже, Арну уехал еще накануне, так как ему не терпелось подышать свежим воздухом.

Он каждый год, едва появлялись первые листья, в течение нескольких дней подряд с самого утра отправлялся за город, совершал долгие прогулки по полям, пил молоко на фермах, заигрывал с крестьянками, справлялся о видах на урожай и привозил с собою в носовом платке пучки салата. Наконец он осуществил давнишнюю свою мечту – купил себе дачу.

Пока Фредерик разговаривал с приказчиком, пришла м-ль Ватназ и была разочарована, что не застала Арну. Он, может быть, еще дня на два останется там. Приказчик посоветовал ей «поехать туда»; она не могла; написать письмо она боялась – вдруг оно пропадет. Фредерик предложил его передать. Она быстро написала записку и стала умолять Фредерика, чтобы он вручил ее без свидетелей.

Сорок минут спустя он уже был в Сен-Клу.

Дом находился на склоне холма, в каких-нибудь ста шагах от моста. Садовую ограду скрывали два ряда лип, к берегу реки спускалась широкая лужайка. Калитка была открыта, и Фредерик вошел.

Арну, растянувшись на траве, играл с котятками. Забава эта, видимо, поглощала его всецело. Письмо м-ль Ватназ нарушило его благодушное состояние.

– Черт возьми! Черт возьми! Неприятно! Она права; мне придется ехать.

Потом, засунув послание в карман, он доставил себе удовольствие показать гостю свои владения. Он показал все – конюшню, сарай, кухню. Гостиная была направо; за окнами, выходящими в сторону Парижа, тянулся трельяж, увитый ломоносом. Но вот над головой у них раздалась рулада: это г-жа Арну – она думала, что одна в доме, – развлекалась пением. Она упражнялась в гаммах, трелях, арпеджо. Одни ноты словно застывали в воздухе, другие быстро скользили вниз, точно капельки в водопаде, и голос ее, проникавший сквозь жалюзи, разрывал глубокую тишину и поднимался к голубому небу.

Вдруг она умолкла – пришли соседи, супруги Удри.

Потом она сама появилась на крыльце, а когда стала спускаться по ступенькам, Фредерик увидел ее ногу. Г-жа Арну была в открытых туфельках бронзовой кожи с тремя поперечными переплетами, которые золотой решеткой выделялись на фоне чулка.

Приехали гости. За исключением адвоката Лефощера, все это были завсегдатаи четвергов. Каждый принес какой-нибудь подарок: Дитмер – сирийский шарф, Розенвальд – альбом

романсов, Бюрьё – акварель, Сомбаз – карикатуру на самого себя, а Пеллерен – рисунок углем, изображающий нечто вроде плясок смерти, отвратительную фантазию, посредственную вещь. Юссонэ решил обойтись без подношения.

Фредерик, выждав, после всех преподнес ей свой дар.

Она горячо благодарила его. Тогда он сказал:

– Но... это почти что долг! Я так на себя досадовал...

– За что? – возразила она. – Я не понимаю!

– К столу! – сказал хозяин и схватил его под руку; потом на ухо шепнул: «Уж вы и недогадливы!»

Ничего не могло быть приятнее для глаз, чем эта столовая, с бледно-зелеными стенами. На одном ее конце каменная нимфа погружала кончик ноги в бассейн, имевший форму раковины. В открытые окна был виден весь сад с длинной лужайкой, на краю которой возвышалась старая шотландская сосна, высохшая больше чем наполовину; клумбы здесь были разбиты неравномерно, без строгого порядка; по ту сторону реки широким полукругом развertyвались Булонский лес, Нейи, Севр, Медон. За оградой, прямо напротив, скользила по воде парусная лодка.

Говорили сперва о виде, открывавшемся отсюда, потом о пейзаже вообще, и споры только еще начались, когда Арну приказал слуге заложить в половине десятого кабриолет. Письмо от кассира звало его в город.

– Хочешь, я поеду с тобой? – сказала г-жа Арну.

– Еще бы! – И он отвесил ей низкий поклон. – Вы же знаете, сударыня, что жить без вас я не могу.

Все стали поздравлять ее, что у нее такой прекрасный муж.

– О! Так ведь я не одна! – мягко заметила г-жа Арну, показывая на дочку.

Потом опять речь зашла о живописи, заговорили о картине Рюисдала, за которую Арну надеялся выручить значительную сумму, и Пеллерен спросил, верно ли, что пресловутый Саул Матиас приезжал в прошлом месяце из Лондона и предлагал за нее двадцать три тысячи франков.

– Как нельзя более верно! – И Арну обратился к Фредерику: – Это как раз тот господин, с которым я в тот вечер был в «Альгамбре», не по своему желанию, уверяю вас; эти англичане вовсе незанимательны!

Фредерик, подозревавший, что письмо м-ль Ватназ скрывает какую-то любовную историю, изумился, с какой легкостью почтенный Арну нашел приличный повод, чтобы удрать в город, но эта новая ложь, совершенно уж ненужная, заставила его вытаращить глаза.

Торговец как ни в чем не бывало спросил:

– А как зовут того высокого молодого человека, вашего приятеля?

– Делорье, – поспешил ответить Фредерик.

И чтобы загладить вину, которую он перед клерком чувствовал, стал расхваливать его незаурядный ум.

– Неужели? Но на вид он не такой славный малый, как тот, другой, приказчик из транспортной конторы.

Фредерик уже проклинал Дюссардьё. Вдруг она подумает, что он водится с простонародьем.

После разговор зашел о том, как украшается столица, о новых кварталах, и старик Удри в числе крупных дельцов назвал г-на Дамбрёза.

Фредерик, пользуясь случаем привлечь к себе внимание, сказал, что знаком с ним. Но Пеллерен разразился филиппикой против лавочников: торгуют ли они свечами или деньгами, разницы он в них не видит. Затем Розенвальд и Бюрьё стали рассуждать о фарфоре; Арну разговаривал с г-жой Удри о садоводстве; Сомбаз, весельчак старого закала, забавлялся тем,

что подтрунивал над ее мужем, он именовал его Одри, по имени актера, потом заявил, что он, наверно, потомок Удри, рисовальщика собак, ибо на лбу у него заметна шишка четвероногих. Он даже захотел ощупать его череп, а тот не давался – из-за парика, и десерт закончился среди раскатов смеха.

После того как выпили кофе в саду под липами, покурили и несколько раз прошлись по дорожкам, все общество отправилось к реке – погулять на берегу.

Остановились около рыбака, чистившего угрей в своей палатке. М-ль Марта захотела на них поглядеть. Рыбак высыпал их на траву; девочка бросилась на колени, стала их ловить; она то смеялась от удовольствия, то вскрикивала от испуга. Все угри разбежались. Арну заплатил за них.

Потом ему пришло в голову, что надо бы покататься на лодке.

С одного края горизонт начинал бледнеть, а с другого по небу широкой волной разливался оранжевый свет, приобретающий красноватый оттенок у вершины холмов, которые стали совсем черными. Г-жа Арну сидела на большом камне, спиной к этому зареву пожара. Остальные бродили поблизости; Юссонэ, стоявший внизу, у самой реки, бросал в воду камешки.

Вернулся Арну – он раздобыл старую лодку и, невзирая на увещания наиболее благоразумных, усадил в нее своих гостей. Лодка стала погружаться в воду; пришлось высидеться.

В гостиную, обтянутой ситцем, уже горели свечи в хрустальных жирандолях. Старушка Удри мирно задремала в кресле, а прочие слушали г-на Лефошера, рассуждавшего о знаменитостях адвокатуры. Г-жа Арну стояла в одиночестве у окна; Фредерик подошел к ней.

Они говорили о том же, о чем и другие. Она восхищалась ораторами; он же предпочитал славу писателя. Но ведь, наверно, продолжала она, испытываешь большее наслаждение, когда непосредственно воздействуешь на толпу, когда видишь, что ей передаются все чувства твоей души. Это не соблазняет Фредерика – он не честолюбив.

– Ах! Но почему же? – сказала она. – Немного честолюбия не мешает.

Они стояли у окна друг подле друга. Ночь расстилалась перед ними, как громадный темный покров, усеянный блестками серебра. В первый раз они говорили не о безразличных вещах. Он даже узнал, что ее привлекает, что отталкивает; для нее были мучительны некоторые запахи, исторические книги ее занимали, она верила в сны.

Он затронул тему любви. Потрясения, причиняемые страстью, вызывали в ней сочувствие, а гнусное лицемерие возмущало ее; и эта прямота души так гармонировала с правильными чертами ее прекрасного лица, что казалось, будто между ними существует какая-то зависимость.

Порой она улыбалась, на миг задерживая на нем свой взгляд. Тогда он чувствовал, как ее взор проникает ему в душу, подобно тем могучим солнечным лучам, что пронизывают воду до самого дна. Он любил ее без всякой задней мысли, без надежды на взаимность, самозабвенно; и в своих немых порывах, похожих на пыл благодарности, хотел бы покрыть ее лоб градом поцелуев. В то же время некая внутренняя сила словно возвышала его над самим собой; то была жажда принести себя в жертву, потребность немедленно доказать свою преданность, тем более сильная, что он не мог ее удовлетворить.

Он не уехал вместе с другими гостями, Юссонэ тоже. Они должны были возвращаться в экипаже; кабриолет уже стоял у подъезда, когда Арну спустился в сад нарвать роз. Цветы он перевязал ниткой, а так как стебли были разной длины, он порылся у себя в кармане, полном бумажек, взял первую попавшуюся, завернул букет, скрепил его толстой булавкой и с чувством преподнес жене.

– Вот, дорогая, – и прости, что я не подумал о тебе!

Но она вскрикнула; булавка, нелепо воткнутая, уколола ее, и она ушла к себе в спальню. Ее ждали с четверть часа. Наконец она снова появилась, схватила Марту и поспешно села в коляску.

– А букет? – спросил Арну.

– Нет, нет, не стоит труда!

Фредерик побежал за ним; она ему крикнула:

– Не надо мне его!

Но он быстро принес букет и сказал, что опять завернул его в бумагу, так как цветы валялись на полу. Она засунула их за кожаный фартук напротив сиденья, и экипаж тронулся.

Фредерик, сидевший рядом с ней, заметил, что она вся дрожит. Проехав мост, Арну стал поворачивать налево.

– Да нет! – крикнула она. – Ты не туда едешь! Надо направо!

Видимо, она была раздражена: все ее волновало. Наконец, когда Марта закрыла глаза, она вытащила букет и бросила его за дверцу, потом схватила Фредерика за руку, другой рукой делая ему знак больше об этом не заговаривать. Затем приложила к губам носовой платок и более не двигалась.

Двое их спутников, сидевшие на козлах, беседовали о типографии, о подписчиках. Арну, правивший небрежно, среди Булонского леса сбился с пути. Пришлось ехать какими-то узкими аллеями. Лошадь шла шагом; ветви деревьев задевали верх экипажа. В темноте Фредерик ничего не видел, кроме глаз г-жи Арну; Марта лежала у нее на коленях, а он поддерживал ей голову.

– Она вам мешает? – спросила мать.

Он отвечал:

– Нет! О нет!

Медленно подымались столбы пыли; экипаж проезжал через Отейль; все дома были заперты; то тут, то там фонарь освещал угол стены, потом опять въезжали в темноту; вдруг Фредерик заметил, что она плачет.

Что это – раскаяние? Какое-то желание? Ее печаль, причины которой он не знал, тревожила его, словно нечто касавшееся его самого; теперь между ними возникла новая связь, своего рода сообщничество; и он ее спросил так ласково, как только мог:

– Вам не по себе?

– Да, немного, – ответила она.

Экипаж катил, жимолость и сирень, перекинув ветки за садовые ограды, наполняли ночной воздух томным благоуханием. Ее платье с многочисленными оборками закрывало ему ноги. Ему казалось, что девочка, лежащая между ними, связывает его со всем ее существом. Он наклонился к Марте и, откинув ее красивые темные волосы, тихонько поцеловал в лоб.

– Вы добрый! – сказала г-жа Арну.

– Почему это?

– Потому что любите детей.

– Не всех!

Он ничего больше не сказал, но протянул к ней левую руку и широко раскрыл ладонь, вообразив, что, может быть, она сделает то же самое и руки их встретятся. Потом ему стало совестно, и он отдернул руку.

Вскоре выехали на мостовую. Экипаж катил быстрее, газовые рожки становились все многочисленнее – это был Париж. Перед зданием морского министерства Юссонэ соскочил с козел. Фредерик вышел из экипажа, только когда они въехали во двор дома, потом он притаился за углом улицы Шуазель и, стоя там, увидал, как Арну медленно идет в сторону бульваров.

Со следующего же дня Фредерик изо всех сил принялся за работу.

Он видел себя в зале суда зимним вечером, когда защитительная речь близится к концу, лица присяжных бледны, а трепещущая толпа напирает на перегородки, так что они трещат; он говорит уже четыре часа, подводит итоги всем своим доказательствам, открывает новые и при каждой фразе, при каждом слове чувствует, как нож гильотины, повисший где-то там над

обвиняемым, поднимается все выше; потом он видел себя на трибуне палаты депутатов, – он оратор, на устах которого спасение целого народа; он топил противников своими уподоблениями, уничтожает одним ответом; в голосе его слышатся и громы, и музыкальные интонации; все есть у него – ирония, пафос, гнев, величие. Она тоже там, где-то в толпе, она скрывает под вуалью слезы восхищения; потом они встречаются; и ни разочарования, ни клевета, ни обиды не коснутся его, если она скажет: «Ах! Как прекрасно!» – и проведет по его лбу своими тонкими руками.

Эти образы, точно маяки, сияли на его жизненном горизонте. Возбужденный ум его окреп и стал более гибким. До августа он заперся у себя и выдержал последний экзамен.

Делорье, который с таким трудом натаскивал его еще раз ко второму экзамену в конце декабря и к третьему – в феврале, удивлялся его рвению. Воскресли прежние надежды. Через десять лет Фредерик должен стать депутатом, через пятнадцать – министром. Почему бы и нет? Благодаря наследству, которое вскоре будет в его распоряжении, он может основать газету; с этого он начнет; а там видно будет. Что касается Делорье, то он по-прежнему мечтал о кафедре на юридическом факультете, и свою докторскую диссертацию он защитил так замечательно, что удостоился похвалы профессоров.

Через три дня после него защитил диссертацию и Фредерик. Перед отъездом на каникулы он решил устроить пикник, которым завершились бы субботние сборища.

На пикнике он был весел. Г-жа Арну находилась теперь у своей матери в Шартре. Но скоро он встретится с ней вновь и в конце концов станет ее любовником.

Делорье, как раз в тот день допущенный к ораторским упражнениям на набережной Орсэ, произнес речь, вызвавшую немало аплодисментов. Хотя обычно он был воздержан, но на этот раз напился и за десертом сказал Дюссардь:

– Вот ты – человек честный! Когда я разбогатею, я сделаю тебя моим управляющим.

Все были счастливы. Сизи не предполагал кончать курс. Мартинон для продолжения своей деятельности собирался уехать в провинцию, где он будет назначен помощником прокурора; Пеллерен готовился приступить к большой картине на тему «Гений революции». Юссонэ на следующей неделе должен был читать директору театра «Отдохновение» план пьесы и в успехе не сомневался:

– Построение драмы не вызывает спора! В страстях я знаю толк – я достаточно таскался по свету; а что до остроумия, так это моя профессия!

Он сделал прыжок, стал на руки и несколько раз прошелся вокруг стола.

Сенекаля эта мальчишеская выходка не развеселила. Из пансиона, где он служил, его прогнали за то, что он побил сына аристократа. Терпя все большую нужду, он винил в этом общественный строй, проклинал богатых; свои чувства он изливал перед Режембаром, все более разочарованным, унылым, привередливым. Гражданин занимался теперь вопросами бюджета и обвинял камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы.

Он не мог лечь спать, не заглянув в кабачок «Александр», и поэтому исчез еще в одиннадцать часов. Остальные ушли позднее; прощаясь с Юссонэ, Фредерик узнал от него, что г-жа Арну должна была вернуться накануне.

Он пошел в контору дилижансов поменять билет, чтоб уехать на день позже, и часов около шести явился к ней. Ее возвращение, сказал привратник, откладывается на неделю. Фредерик пообедал в одиночестве, потом слонялся по бульварам.

Розовые облака, длинные и растрепанные, тянулись над крышами; над витринами лавок уже начинали поднимать навесы; на уличную пыль из бочек поливальщиков брызнула вода, и неожиданная свежесть смешивалась с запахами кофеен, в открытые двери которых видны были, среди серебра и позолоты, целые снопы цветов, отражавшиеся в высоких зеркалах. Медленно двигалась толпа. Мужчины вели разговоры, стоя группами на тротуаре; женщины проходили мимо, и в их взглядах была та нега, а на лицах та матовая бледность камелий, которую

вызывает усталость от сильной жары. Что-то необъятное было разлито в воздухе, окутывало дома. Никогда Париж не казался Фредерику таким прекрасным. Будущее представлялось ему бесконечной вереницей лет, полных любви.

Он остановился перед театром Порт Сен-Мартен, посмотрел на афишу и, так как делать ему было нечего, взял билет.

Играли какую-то старую феерию. Зрителей было мало; в слуховые окошки над райком видно было небо – маленькие синие квадратики, а кенкеты рампы тянулись сплошной линией желтых огней. Сцена изображала невольничий рынок в Пекине – с колокольчиками, гонгами, султаншами, остроконечными шапками, а действие пересыпалось игрою слов. В антракте Фредерик пошел бродить по безлюдному фойе и увидел в окно на бульваре, у подъезда, большое зеленое ландо, запряженное парой белых лошадей, с кучером в коротких штанах.

Он уже возвращался на свое место, когда в первую ложу бельэтажа вошли дама и господин; у мужа было бледное лицо, окаймленное жидкими седыми бакенбардами, орден в петлице и тот холодный вид, который якобы всегда присущ дипломатам.

Жена по крайней мере лет на двадцать моложе, ни высокая, ни маленькая, ни дурнушка, ни хорошенькая, блондинка с локонами по английской моде, в платье с гладким лифом, держала в руке широкий черный кружевной веер. Чтобы объяснить, почему люди подобного круга в эту пору сезона приехали в театр, надо было предположить или какую-то случайность, или скуку при мысли о вечере, который им предстояло провести вдвоем. Дама покусывала веер, господин зевал. Фредерик не мог вспомнить, где он его видел.

Проходя по коридору в следующем антракте, он встретил их и неуверенно поклонился; г-н Дамбрёз, узнав его, подошел и сразу же стал извиняться за непростительную небрежность. Это был намек на многочисленные визитные карточки, которые Фредерик посылал по советам клерка. Однако он путал года и думал, что Фредерик еще только на втором курсе. Потом он сказал Фредерику, что завидует его поездке в деревню. Ему самому надо бы отдохнуть, но дела удерживают его в Париже.

Госпожа Дамбрёз, опираясь на руку мужа, чуть наклоняла голову, и любезно-оживленное выражение ее лица не соответствовало печали, которая только что была на нем.

– Все же здесь есть и чудесные развлечения! – сказала она, как только муж ее замолчал. – Какая глупая пьеса! Не правда ли, сударь?

И все трое продолжали стоять, разговаривая о театре и новых пьесах.

Фредерик, привыкший к ломанью провинциальных мещанок, еще ни у одной женщины не видел такой непринужденности в обращении, той простоты, которая на самом деле есть не что иное, как изысканность, и в которой люди наивные усматривают проявление внезапной симпатии.

Они рассчитывали видеть его у себя, как только он вернется; г-н Дамбрёз поручил передать привет дядюшке Рокку.

Фредерик, возвратясь домой, не преминул рассказать об этой встрече Делорье.

– Великолепно! – заметил клерк. – Только не давай мамаше вертеть тобою! Возвращайся сразу же!

На другой день по его приезде г-жа Моро после завтрака повела сына в сад.

Она выразила радость по поводу того, что теперь он получил звание, ибо они не так богаты, как думают люди; земля приносит мало дохода; арендаторы платят неважно; она даже была вынуждена продать свой экипаж. Наконец она ознакомила его с положением их дел.

Когда, овдовев, она впервые оказалась в стесненных обстоятельствах, один коварный человек, г-н Рокк, одолжил ей денег и, помимо нее, возобновлял и переносил сроки векселя. Вдруг он сразу потребовал все, и она пошла на его условия, за смехотворную цену уступила ему Прельскую ферму. Десять лет спустя, при крахе банка в Мелёне, погиб и ее капитал. В ужасе перед необходимостью заложить недвижимость и стремясь в то же время сохранить прежний

образ жизни, что в будущем могло оказаться полезным для ее сына, она, когда г-н Рокк снова явился к ней, еще раз согласилась на его предложения. Но теперь она с ним в расчете. Короче говоря, у них остается приблизительно десять тысяч франков годового дохода, из них на долю Фредерика – две тысячи триста, все, что осталось от наследства отца!

– Да не может быть! – воскликнул Фредерик.

Она только кивнула головой в знак того, что это вполне может быть.

Но дядя-то оставит ему что-нибудь?

Вот это совершенно неизвестно!

И они молча прошли по саду. Наконец она прижала его к груди и сказала голосом, сдавленным от слез:

– Ах! Бедный мой мальчик! Мне пришлось отказаться от стольких надежд.

Он сел на скамейку под тенью густой акации.

Ее совет – поступить клерком к адвокату Пруараму, который впоследствии передаст ему свою контору; если он хорошо поведет дела, то сможет ее перепродать и найти богатую невесту.

Фредерик уже не слушал. Он машинально смотрел вверх изгороди в соседний сад.

Там была девочка лет двенадцати, рыжеволосая, совсем одна. Из ягод рябины она сделала себе серьги, с ее плеч, чуть золотистых от загара, спускался серый полотняный лиф, на белой юбке были пятна от варенья, а во всей ее фигурке, напряженной и хрупкой, чувствовалась грация хищного зверька. Присутствие незнакомца, по-видимому, удивило ее; держа в руках лейку, она вдруг застыла на месте и уставилась на него прозрачными голубовато-зелеными глазами.

– Это дочка господина Рокка, – сказала г-жа Моро. – Он недавно женился на своей служанке и узаконил ребенка.

VI

Разорен, ограблен, погублен!

Фредерик продолжал сидеть на скамейке, словно ошеломленный ударом. Он проклинал судьбу, ему хотелось кого-нибудь прибить; и он приходил в еще большее отчаяние оттого, что чувствовал над собой гнет какого-то оскорбления, бесчестья, ибо раньше он воображал, что отцовское состояние будет со временем приносить тысяч пятнадцать годового дохода, и дал это понять супругам Арну. Теперь его сочтут за хвастуна, за мошенника, за темного плута, который втерся к ним в надежде на какие-то выгоды! А она, а г-жа Арну! Как теперь встретиться с нею?

Впрочем, это уж и вовсе невысказано, раз у него всего лишь три тысячи годового дохода! Ведь не может он вечно жить на четвертом этаже, иметь в услужении только привратника и целый год являться все в тех же жалких черных перчатках, побелевших на пальцах, в просаленной шляпе, в одном и том же сюртуке. Нет! Нет! Ни за что! А между тем жить без нее невыносимо. Правда, многие не имеют никакого состояния – Делорье в том числе, – и ему показалось малодушием, что он придает такую важность столь ничтожным обстоятельствам. Нужда, быть может, во сто крат умножит его способности. Мысль о великих людях, работающих где-то там, в мансардах, возбудила его. Душу г-жи Арну подобное зрелище должно тронуть, и она умилится. Пожалуй, эта катастрофа в конце концов окажется счастьем; подобно землетрясениям, благодаря которым обнаруживаются сокровища, она вызовет к жизни скрытые богатства его натуры. Но во всем мире есть только одно место, где могут их оценить, – Париж! Ибо в его представлениях искусство, науки и любовь (эти три лика Божества, как сказал бы Пеллерен) были совершенно невысказаны вне столицы.

Вечером он объявил матери, что вернется в Париж. Г-жа Моро была удивлена и возмущена. Это безумие, нелепость. Лучше бы он послушался ее советов, то есть остался с нею, начал службу в конторе. Фредерик пожал плечами: «Полноте!» – и решил, что такое предложение для него оскорбительно.

Тогда добрая женщина прибегла к другому способу. Тихо всхлипывая, она нежным голосом стала говорить о своем одиночестве, о своей старости, о жертвах, принесенных ею. Теперь, когда она так несчастна, он ее покидает. Потом, намекая на близость своей смерти, сказала:

– Боже мой, потерпи немножко! Скоро ты будешь свободен!

Эти жалобы повторялись раз двадцать в день в течение целых трех месяцев, а в то же время приятности домашней жизни подкупали его; он наслаждался мягкой постелью, полотнами, на которых не было дыр, и вот, обессиленный, лишенный воли, словом, побежденный страшной силой кротости, Фредерик позволил отвести себя к мэтру Пруараму.

Он не выказал там ни знаний, ни усердия. До сих пор на него смотрели как на молодого человека с большими задатками, как на будущую гордость департамента. И все были разочарованы.

Первое время он думал про себя: «Надо сообщить госпоже Арну» – и целую неделю обдумывал письма, полные дифирамбов, и коротенькие записки в стиле лапидарном и возвышенном. Его удерживала боязнь признаться в своем положении. Потом он решил, что лучше написать ее мужу. Арну знает жизнь и поймет его. Наконец, после двухнедельных колебаний, он решил: «Да что там! Мне больше не видаться с ними. Пусть забудут меня! По крайней мере, я не уроню себя в ее мнении! Она подумает, что я умер, и пожалеет обо мне... быть может».

Так как и самые крайние решения не стоили ему труда, то он дал себе клятву никогда больше не возвращаться в Париж и даже не справляться о г-же Арну.

А между тем он испытывал сожаление решительно обо всем, вплоть до запаха газа и грохота омнибусов. Он мечтательно вспоминал всякое слово, слышанное от нее, тембр ее голоса, блеск ее глаз и, считая себя конченным человеком, не делал уже ничего, решительно ничего.

Он вставал очень поздно, смотрел в окно на проезжавшие мимо возы. Особенно скверно чувствовал он себя первые полгода.

Все же случались дни, когда им овладевало негодование на самого себя. Тогда он уходил из дому. Он шел по лугам, которые зимой наполовину затоплены разливом Сены. Их разделяют ряды тополей. То тут, то там подымается мостик. Он бродил до вечера, ступая по желтым листьям, вдыхая туман, перепрыгивая через канавы; по мере того как кровь сильнее стучала в висках, его охватывала неистовая жажда деятельности; ему хотелось бы стать охотником в Америке, поступить слугою к восточному паше или матросом на корабль; свою меланхолию он изливал в длинных письмах к Делорье.

Тот из кожи лез вон, лишь бы пробиться. Малодушное поведение друга и его вечные жалобы казались клерку нелепыми. Вскоре их переписка почти сошла на нет. Всю свою обстановку Фредерик подарил Делорье, который продолжал жить в его квартире. Мать время от времени заговаривала на эту тему; наконец он сознался в сделанном им подарке, и мать стала бранить его. Как раз в это время ему принесли письмо.

– Что с тобой? – спросила она. – Ты весь дрожишь?

– Что со мной? Да ничего! – ответил Фредерик.

Делорье сообщал ему, что поселил у себя Сенекалья и они уже две недели живут вместе. Итак, Сенекаль пребывает сейчас среди вещей, связанных с четой Арну. Он может продать их, делать замечания на их счет, шутить. Фредерик почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Он ушел к себе в комнату. Ему хотелось умереть.

Мать позвала его. Ей надо было посоветоваться с ним относительно каких-то насаждений в саду.

Этот сад, вроде английского парка, был разделен посредине изгородью, и одна половина принадлежала дядюшке Рокку, у которого на берегу реки был еще и огород. Соседи, находившиеся в ссоре, избегали появляться в саду в одни и те же часы. Но с тех пор как вернулся Фредерик, г-н Рокк чаще стал гулять там и не скупился на любезности по его адресу. Он сочувствовал сыну г-жи Моро, которому приходится жить в маленьком городке. Однажды он ему сказал, что г-н Дамбрёз о нем спрашивал. В другой раз он стал распространяться о Шампани, по обычаю которой титул переходил к детям по женской линии.

– В ту пору вы были бы знатным господином, ведь ваша матушка урожденная де Фуван. И право, что ни говори, а имя кое-что да значит! Впрочем, – прибавил он, лукаво глядя на него, – все зависит от министра юстиции.

Эти притязания на аристократизм удивительно противоречили всему его облику. Он был мал ростом, а просторный коричневый сюртук нарушал пропорции его туловища, удлиняя его. Когда он снимал фуражку, показывалось почти женское лицо с необычайно острым носом; желтые волосы напоминали парик; кланялся он при встречах очень низко, задевая стены.

До пятидесяти лет он довольствовался услугами некой Катрины, родом из Лотарингии, его ровесницы, лицо у нее было изрыто оспой. Но в 1834 году он вывез из Парижа красавицу-блондинку с овечьим выражением лица и «царственной осанкой». Вскоре она стала важно разгуливать с огромными серьгами в ушах, а после рождения дочери, записанной под именем Елизаветы-Олимпии-Луизы Рокк, все стало ясно.

Катрина, снедаемая ревностью, думала, что возненавидит ребенка. Напротив, она любила эту девочку, окружила ее заботами, вниманием и ласками, чтобы занять место матери и восстановить против нее малютку, и это не стоило большого труда, ибо г-жа Элеонора совершенно забросила дочь, предпочитая болтать со своими поставщиками. На другой же день после свадьбы она побывала с визитом в доме супрефекта, перестала говорить служанкам «ты» и решила, считая это хорошим тоном, держать девочку в строгости. Она сама присутствовала на уроках; учитель, старый чиновник из мэрии, не знал, как ему и быть. Ученица бунтовала, получала пощечины, а потом плакала на коленях у Катрины, неизменно признававшей ее

правоту. Тогда женщины ссорились; г-н Рокк заставлял их умолкнуть. Он женился из любви к дочери и не хотел, чтобы ее мучили.

Она часто ходила в изодранном белом платье и в кружевных панталонах, но в большие праздники ее наряжали как принцессу, назло обывателям, которые ввиду ее незаконного рождения запрещали своим малышам водиться с ней.

Она жила одна в своем саду, качалась на качелях, гонялась за бабочками, потом вдруг останавливалась посмотреть, как жук садится на розовый куст. Должно быть, этот образ жизни и придавал ее лицу выражение смелости и в то же время мечтательности. Она была такого же роста, как Марта, так что Фредерик уже при второй их встрече спросил ее:

– Вы мне позволите поцеловать вас, мадемуазель?

Девочка подняла голову и ответила:

– Пожалуйста!

Но изгородь отделяла их друг от друга.

– Надо на нее влезть, – сказал Фредерик.

– Нет, подними меня!

Он перегнулся через ограду и, схватив ее под мышки, поцеловал в обе щеки, потом таким же образом поставил ее на место; это повторялось несколько раз.

Непосредственная, как четырехлетний ребенок, она, едва заслышав, что идет ее друг, бросалась к нему навстречу или же, спрятавшись за дерево, тьякала по-собачьи, чтобы его испугать.

Как-то раз, когда г-жи Моро не было дома, он привел ее в свою комнату. Она открыла все флаконы с духами и густо напмадила себе волосы; потом без стеснения улеглась на его постель, но спать не собиралась.

– Я воображаю, что я твоя жена, – сказала она.

На следующий день он застал ее всю в слезах. Она призналась, что «оплакивает свои грехи», а когда он захотел разузнать о них, она, потупившись, ответила:

– Не спрашивай меня!

Приближался день первого причастия; утром ее повели исповедоваться.

После этого таинства она не стала благоразумнее. Порою она впадала прямо в ярость; тогда, чтобы успокоить ее, за помощью обращались к Фредерику.

Он часто уводил ее с собою на прогулку. Пока он, шагая, предавался своим грезам, она собирала маки вдоль нив, а если замечала, что он грустнее, чем обычно, старалась утешить его нежными словами. Его сердце, не знавшее взаимной любви, отозвалось на эту детскую привязанность; он рисовал ей человечков, рассказывал разные истории и стал читать ей вслух.

Он начал с «Романтических анналов», в ту пору знаменитого собрания стихов и прозы. Потом, забыв о ее возрасте, – до того он поражался ее уму, – он прочел ей «Аталу», «Сен-Мара», «Осенние листья». Но однажды ночью (в тот вечер она слушала «Макбета» в незатейливом переводе Летурнера) она проснулась с криком: «Пятно! Пятно!» – зубы ее стучали, она дрожала и, не отрывая испуганных глаз от правой руки, терла ее и повторяла: «Все то же пятно!» Наконец пришел врач и не велел волновать ее.

Местные буржуа увидели в этом лишь дурное предзнаменование для ее нравственности. Пошли толки, что «сын Моро» хочет сделать из нее в будущем актрису.

Вскоре всеобщее внимание было привлечено другим событием, а именно приездом дядюшки Бартеlemi. Г-жа Моро отвела ему собственную спальню и в своей предупредительности дошла до того, что в постные дни стала подавать скоромное.

Старик оказался не очень любезным. Не было конца сравнениям между Гавром и Ножа-ном, где, по его мнению, воздух тяжелый, хлеб скверный, улицы плохо вымощены, провизия неважная, а жители города лентяи. «Что за жалкая у вас торговля!» Он осуждал своего покойного брата за сумасбродство; то ли дело он сам: ведь он нажил капитал, который дает двадцать

семь тысяч ливров годового дохода! Но вот к концу недели он уехал и, уже садясь в экипаж, проронил мало обнадеживающие слова:

– Мне всегда отрадно знать, что вы живете в достатке.

– Ничего ты не получишь! – сказала г-жа Моро, возвращаясь в комнаты.

Приехал он только по ее настояниям, и она всю неделю добивалась – слишком явно, может быть, – чтобы он открыл свои намерения. Она уже раскаивалась в этом и сидела теперь в кресле, опустив голову, сжав губы. Фредерик, сидя против нее, следил за ней взглядом, и оба молчали, как было пять лет тому назад, когда он приехал из Монтеро. Это совпадение, невольно пришедшее ему в голову, напомнило ему о г-же Арну.

В эту минуту под окном раздалось щелканье бича, и кто-то его позвал.

То был дядюшка Рокк – один в своей повозке. Он собирался провести целый день в Ла-Фортель, у г-на Дамбрёза, и дружески предложил Фредерику поехать с ним.

– Со мной вам не надо приглашений, не беспокойтесь!

Фредерик охотно бы согласился. Но чем объяснить свое окончательное переселение в Ножан? Не было у него и подходящего летнего костюма. Наконец, что скажет мать? Он отказался.

С этих пор сосед сделался менее дружелюбен. Луиза подрастала. Г-жа Элеонора опасно заболела, и общение прервалось, к великому удовольствию г-жи Моро, опасавшейся, что знакомство с подобными людьми повредит карьере сына.

Она мечтала купить ему место в канцелярии суда. Фредерик не особенно сопротивлялся этому намерению. Теперь он сопровождал ее к обедне, по вечерам играл с нею в империал; он привыкал к провинции, погружался в нее, и даже самая его любовь приобрела какую-то замогильную сладость, дремотное очарование. Свою скорбь он столько раз изливал в письмах, столько раз вспоминал о ней, читая книги или гуляя среди полей и все окрашивая ею, что она почти иссякла, и г-жа Арну была для него теперь как бы покойницей, и он удивлялся, что не знает, где ее могила, – такой тихой и смиренной стала его привязанность.

Однажды – это было 12 декабря 1845 года – кухарка часов в девять утра подала Фредерику в комнату письмо. Адрес был написан крупными буквами, незнакомым почерком, и Фредерик, еще сонный, неторопливо его распечатал. Наконец он прочел:

«Гаврский мировой судья, III округ.

Милостивый государь,

Ваш дядя, господин Моро, скончавшись *ab intestat*...»⁵

Он наследник!

Фредерик вскочил с постели, босиком, в одной рубашке, как будто за стеной вспыхнул пожар; он провел рукой по лицу, не веря собственным глазам, думая, не пригрезилось ли ему все это, и, желая убедиться, что не спит, распахнул окно.

Выпал снег; крыши побелели; и на дворе он даже заметил лохань для стирки, на которую наткнулся накануне вечером.

Он три раза подряд перечитал письмо. Никакого сомнения! Все состояние дяди! Двадцать семь тысяч ливров годового дохода! И неистовая радость потрясла его при мысли, что он увидит г-жу Арну. Отчетливо, как в галлюцинации, он узрел себя рядом с ней, у нее в доме; он привез ей какой-то подарок, завернутый в тончайшую бумагу, а у подъезда его ждет тильбюри, нет, лучше двухместная карета! Да, черная двухместная карета, со слугою в коричневой ливрее. Он слышит, как лошадь бьет копытом, а позвякивание уздечки сливается с нежными звуками их поцелуев. Так будет каждый день, до бесконечности. Он станет принимать их у себя, в своем доме; столовая будет обита красным сафьяном, будуар – желтым шелком,

⁵ Не оставив завещания (лат.).

всюду диваны! И какие этажерки! Китайские вазы! Какие ковры! Эти образы неслись столь стремительно, что у него закружилась голова. Тогда он вспомнил о матери и пошел к ней, все не выпуская письма из рук.

Госпожа Моро пыталась сдержать свое волнение и чуть не упала в обморок. Фредерик обнял ее и поцеловал в лоб.

– Милая матушка, ты теперь снова можешь купить экипаж. Улыбнись же, не надо плакать, будь счастлива!

Через десять минут новость распространилась вплоть до предместий. Тут поспешили явиться мэтр Бенуа, г-н Гамблен, г-н Шамбион, все друзья. Фредерик убежал от них на минуту, чтобы написать Делорье. Пришли новые гости. Всю вторую половину дня заполнили поздравления. За всем этим позабыли о жене Рокка, а между тем она была «совсем плоха».

Вечером, когда они остались вдвоем, г-жа Моро сказала сыну, что советует ему обосноваться в Труа, заняться адвокатурой. В родных краях его знают лучше, чем где-либо в другом месте, здесь он легче может найти богатую невесту.

– Ну, это уж слишком! – воскликнул Фредерик.

Не успело счастье прийти к нему, как его хотят уже отнять. Он объявил о своем категорическом решении поселиться в Париже.

– А что там делать?

– Ничего!

Госпожа Моро, удивленная таким тоном, спросила, кем же он намерен стать?

– Министром! – ответил Фредерик.

И он уверил ее, что нисколько не шутит, что он хочет пойти по дипломатической части, что к этому его побуждают и познания, и склонности. Сперва он поступит в Государственный совет по протекции г-на Дамбрёза.

– Так ты с ним знаком?

– Еще бы! Через господина Рокка!

– Странно, – сказала г-жа Моро.

Он пробудил в ее сердце давние честолюбивые мечты. Она отдалась им и ни о чем другом уже не заговаривала.

Фредерик – повинуйся он только своему нетерпению – уехал бы тотчас же. На другой день все места в дилижансе оказались проданы; ему пришлось терзаться до следующего дня, до семи часов вечера.

Когда они садились обедать, протяжно прозвучали три удара церковного колокола, и служанка, войдя в комнату, объявила, что г-жа Элеонора скончалась.

Эта смерть, в сущности, ни для кого не была горем, даже для ребенка. Девочке это со временем могло пойти лишь на пользу.

Так как дома стояли рядом, то слышна была суматоха, доносились голоса; и мысль об этом трупе, который находится так близко от них, бросала на их расставание траурную тень. Г-жа Моро раза два-три вытирала глаза, у Фредерика сжималось сердце.

Когда кончили обедать, к нему в дверях подошла Катрина. Барышня непременно хочет его видеть. Она ждет его в саду. Он вышел, перескочил через изгородь и, наткнувшись на деревья, направился к дому г-на Рокка. В одном из окон второго этажа горел свет, из темноты показалась тень, и голос прошептал:

– Это я.

Она показалась ему выше обыкновенного, должно быть из-за черного платья. Не зная, с какими словами обратиться к ней, он только взял ее за руку и со вздохом сказал:

– Ах, бедная моя Луиза!

Она ничего не ответила. Посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Фредерик боялся опоздать на дилижанс; вдали он уже будто слышал стук колес и решил положить конец разговору:

– Катрина мне говорила, что ты хочешь что-то...

– Да, верно, я хотела вам сказать...

Это «вы» удивило его; она умолкла, и он спросил:

– Ну что же?

– Да не помню. Позабыла! Правда, что вы уезжаете?

– Да, и сейчас.

Она переспросила:

– Ах, сейчас?.. Совсем?.. Мы больше не увидимся? – Ее душили рыдания. – Прощай!

Прощай! Поцелуй меня!

И она порывисто обняла его.

Часть вторая

I

Когда Фредерик занял свое место в глубине экипажа и дилижанс тронулся, дружно подхваченный пятеркой лошадей, им овладел какой-то опьяняющий восторг. Как зодчий создает план дворца, так он заранее начал обдумывать свою жизнь. Он наполнил ее утонченностью и великолепием; она возносилась к горным высотам; всего в ней было в изобилии, и созерцание ее так глубоко его захватило, что внешний мир для него исчез.

Лишь когда поравнялись с сурденским косогором, он обратил внимание на местность. Проехали только пять километров, самое большее. Фредерик был возмущен. Он опустил окно, чтобы смотреть на дорогу. Несколько раз он задавал кондуктору вопрос, когда в точности они приедут. Мало-помалу он успокоился и сидел в своем углу с открытыми глазами.

Фонарь, привешенный к козлам, освещал крупы коренников. А впереди Фредерик различал лишь гривы остальных лошадей, зыблющиеся, как белые волны; от их дыхания по обе стороны упряжи клубился пар; железные цепочки звякали, стекла дрожали в рамах, и тяжелый экипаж мерно катился по дороге. То тут, то там из мрака выступали какой-нибудь сарай или одинокий постоялый двор. Порою, когда проезжали деревню, видно было зарево печи, топившейся в пекарне, и чудовищные силуэты лошадей проносились по стене дома, стоящего напротив. На станциях, пока лошадей перепрягали, на минуту водворялась глубокая тишина. Кто-то топал по крыше экипажа, и на крыльце появлялась женщина, рукой защищая свечу от ветра. Потом кондуктор вскакивал на подножку, и дилижанс снова трогался в путь.

В Мормане Фредерик услышал, как часы пробили четверть второго.

«Так, значит, сегодня, – подумал он, – уже сегодня, совсем скоро!»

Но мало-помалу его надежды и воспоминания, Ножан, улица Шуазель, г-жа Арну, мать – все смешалось.

Его разбудил глухой стук колес по деревянному настилу: переезжали Шарантонский мост – это был Париж. Тогда его спутники сняли один – фуражку, а другой – фуляровый платок, надели шляпы и занялись разговорами. Первый, краснолицый толстяк в бархатном сюртуке, был купец; второй ехал в столицу посоветоваться с врачом, и вот Фредерик, вдруг испугавшись, не причинил ли ему ночью беспокойства, стал извиняться, – столь умиляюще действовало счастье на его душу.

Так как Вокзальная набережная была, видимо, затоплена, ехать продолжали прямо, и опять потянулись поля. Вдали дымили высокие фабричные трубы. Потом экипаж повернул на Иври. Въехали на какую-то улицу; внезапно Фредерик увидел купол Пантеона.

Взрытая равнина напоминала груды развалин. На ней длинной полосой вздувался крепостной вал; вдоль пешеходных дорожек, окаймлявших шоссе, выстроились чахлые деревца, не успевшие разветвиться и окруженные защитными рейками, которые были утыканы гвоздями. Фабрики химических изделий чередовались с лесными складами. В полуоткрытые высокие ворота, вроде тех, что бывают на фермах, виднелась внутренность отвратительных дворов, полных нечистот, с грязными лужами посередине. На длинных трактирных зданиях цвета бычьей крови в простенках между окнами второго этажа выделялось по два скрещенных бильярдных кия в венке из намалеванных цветов; то тут, то там попадались жалкие лачуги, лишь наполовину отстроенные и оштукатуренные. Потом по обе стороны потянулись сплошной линией дома, и на их обнаженных фасадах то гигантская сигара из жести указывала табачную лавку, то виднелась вывеска повивальной бабки с изображением представительной женщины в чепце, которая укачивала младенца, завернутого в стеганое одеяло с кружевами. Углы

домов были заклеены афишами, на три четверти изодранными и трепетавшими от ветра, точно лохмотья. Проходили рабочие в блузах, проезжали повозки с бочонками пива, прачечные фургоны, тележки с мясом; моросил дождь, было холодно, на бледном небе – ни просвета, но там, за мглюю, сияли глаза, которые для него стоили солнца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.